

A $\frac{253}{541}$

N4.





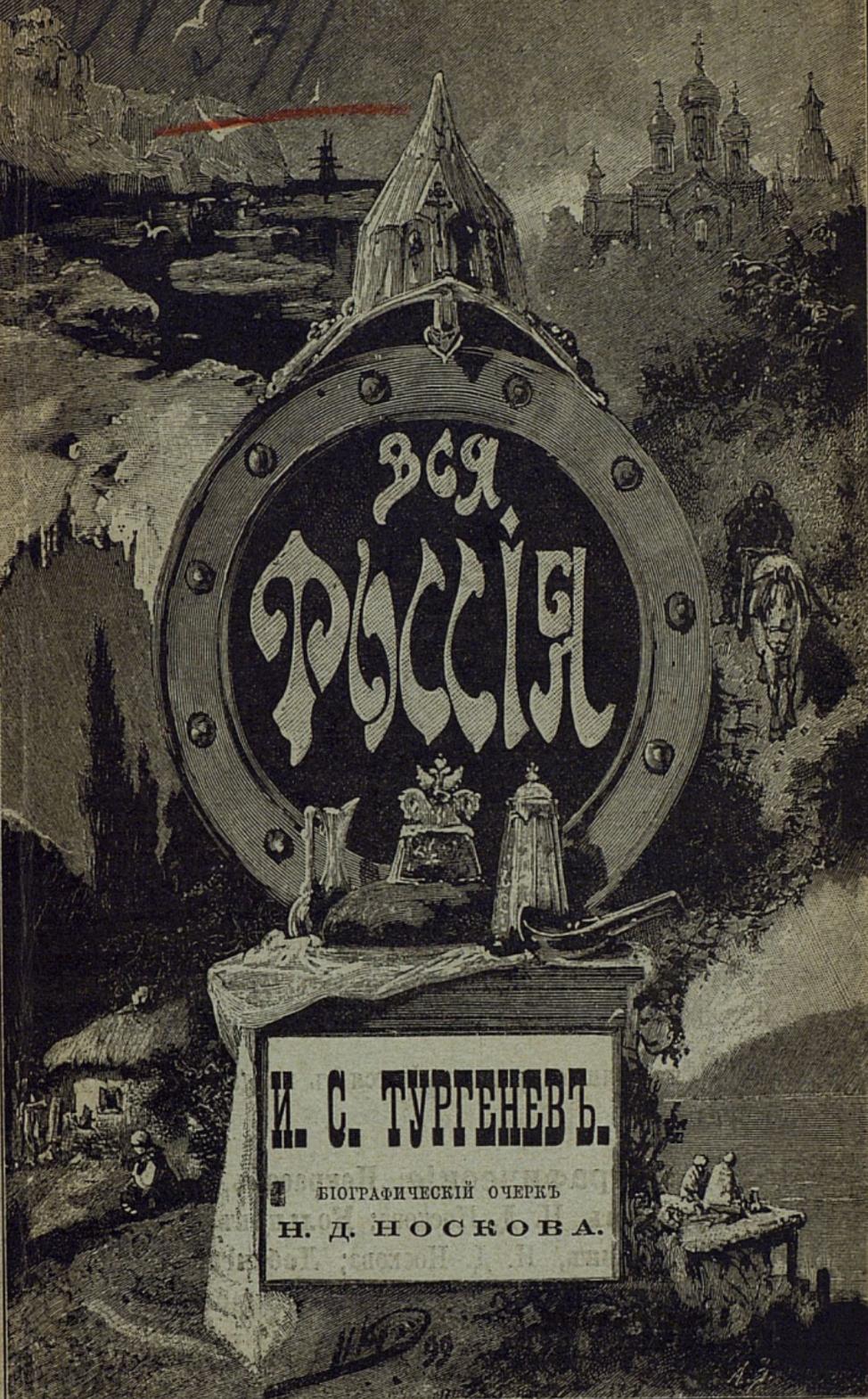




И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

БИОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Н. Д. НОСКОВА.



ЮЖНО-РУССКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Ф. А. Логансона.

Въ Кіевѣ

и

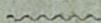
Харьковѣ.



ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА

„Вся Россія“

имѣеть цѣлью познакомить читающую публику съ Россіей
въ очеркахъ и снимкахъ.



Въ виду этого при помощи каждой отдѣльной книжки читатель получить возможность ознакомиться всецѣло съ интересующимъ его вопросомъ. Съ теченіемъ времени читатель съумѣетъ составить себѣ полную энциклопедію русской жизни. Общедоступная цѣна—15 коп. за книжку въ 50—80 страницъ съ иллюстраціями — дастъ всѣмъ полную возможность обзавестись энциклопедической библиотечкой «Вся Россія» совершенно легко и свободно.

Въ настоящее время имѣются въ продажѣ слѣдующіе очерки:

А) **Біографическіе**: Некрасовъ, Н. Д. Носкова; Тургеневъ, Н. Д. Носкова; Кольцовъ, Н. Д. Носкова; Пушкинъ, Н. Д. Носкова; Лобачевскій, А. К. Керра; Боткинъ, И. И. Акимова; Пироговъ, В. Д. Грейтца; Сперанскій, Д. Н. Сеславина; Суворовъ, В. В. Ижева.

„ВСЯ РОССІЯ”.

Энциклопедическая библиотѣка

ПОДЪ ОБЩЕЙ РЕДАКЦІЕЙ

В. И. МАРОВА.

№ 4.

И. С. Тургеневъ.

БИОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Н. Д. НОСКОВА.



ЮЖНО-РУССКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Ф. А. ЮГАНСОНЪ.

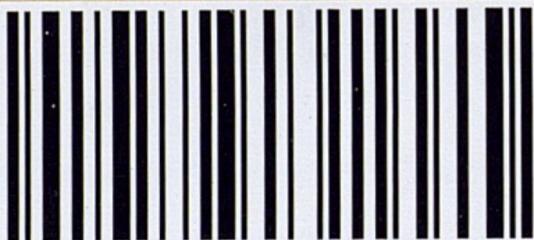
КІЕВЪ.

ХАРЬКОВЪ.

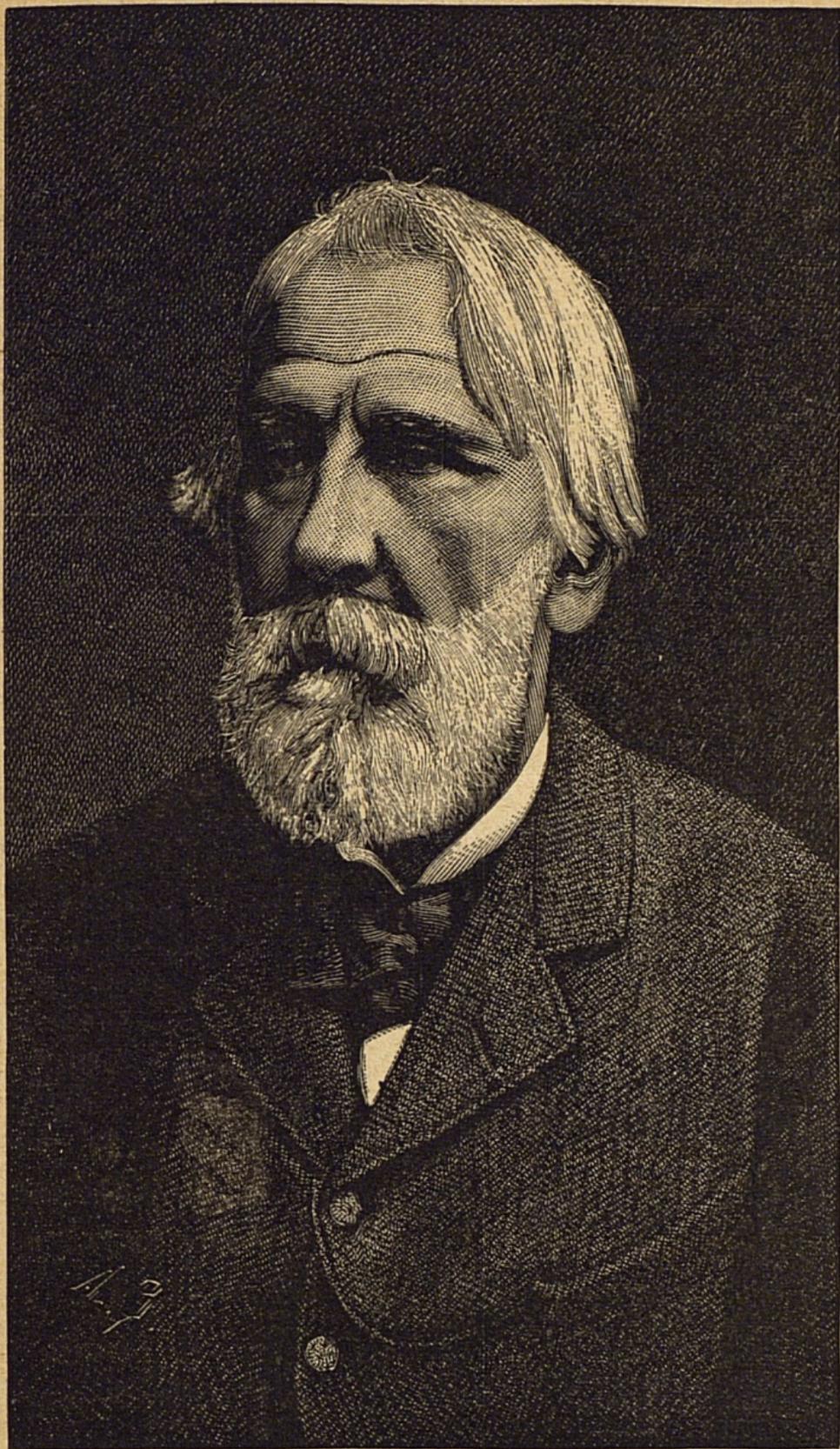
1899.

Дозволено цензурою. СПБ. 2 апрѣля 1899 года.

18246-0



2010516102





ОГЛАВЛЕНІЕ.

- I. Дѣтскіе годы И. С. Тургенева.—Родители и воспитатели.—Первое впечатлѣніе.—Село Спасское.—Перѣѣздъ въ Москву. 9
- II. Москва.—Пансіонъ Вейденгаммера.—Дворянскій пансіонъ.—Приготовленіе къ экзаменамъ.—Московскій университетъ.—Смерть отца.—Петербургскія впечатлѣнія.—Годы студенчества.—Плетневъ.—Литературныя встрѣчи и знакомства.—Первый дебютъ въ «Современникѣ». 15
- III. Окончаніе университета.—Поѣздка за границу.—«Пожаръ на морѣ».—Берлинъ и знакомство съ Грановскимъ и Станкевичемъ.—Поэма «Параша».—Знакомство съ Бѣлинскимъ.—Бѣлинскій и его кружокъ.—Славянофилы и западники.—Поэмы.—Драматическія произведенія.—Андрей Колосовъ 24
- IV. «Записки охотника».—Мнѣніе Бѣлинскаго о первыхъ разсказахъ Тургенева.—Отѣздъ за границу.—Аннибаловская клятва.—Значеніе «Записокъ Охотника» въ глазахъ самого автора.—Смерть Гоголя и статья Тургенева.—Аресбъ.—Ссылка въ Спасское.—Жизнь въ деревнѣ. 34
- V. Отѣздъ за границу.—«Рудинъ».—«Дворянское гнѣздо».—«Наканунѣ».—Разрывъ съ «Современникомъ». 43
- VI. «Отцы и дѣти».—Критика по поводу «Отцовъ и дѣтей».—Мнѣніе Тургенева относительно этого романа.—«Дымъ».—«Новь».—Личная жизнь И. С.—Тоска по Россіи.—Пріѣздъ на родину.—Пушкинскіе дни. 50
- II. Послѣдніе годы.—Болѣзнь И. С. Тургенева.—Послѣдніе дни.—Письмо къ гр. Л. Н. Толстому.—Кончина Тургенева. 61



Источники.

1. Сочиненія *И. С. Тургенева*. Спб. 1897 г. 12 т. Изд. А. Маркса.
 2. Письма *И. С. Тургенева*. Спб. 1888 г. Изд. Общ. для пособ. нужд. литераторамъ и ученымъ.
 3. Сочиненія *Бѣлинскаго*. Т. X и XI. Спб. 1888 г.
 4. Сочиненія *Добролюбова*. Спб. 1874 г.
 5. Сочиненія *Писарева*. Т. I и II. Спб. 1896 г.
 6. Сочиненія *Панаева*. Т. VI Спб. 1896 г.
 7. Воспоминанія *Головачевой-Панаевой*. Спб. 1890 г.
 8. Воспоминанія *Я. П. Полонскаго* (Нива 1884 г.).
 9. *Пытинъ*. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Спб. 1879 г. т. 2.
 10. Сочиненія *Д. В. Григоровича* Т. XII (воспоминанія).
 11. *Чернышевскій*. Критическія статьи. Спб. 1893 г.
 12. *С. А. Венгеровъ*. Критическія этюды. Спб. 1888 г.
 13. Сочиненія *Н. К. Михайловскаго*. Спб. 1885 г.
 14. *В. Буренинъ*. Литературная дѣятельность Тургенева.
 15. *А. Антоновичъ*. Асмодей нашего времени. («Современникъ» 1865 г.).
 16. Иностранная критика о Тургеневѣ. Спб. 1884 г.
 17. *П. Анненковъ*. Воспоминанія и критическія статьи 2 т. Спб. 1889 г.
 18. Воспоминанія *Тургенева* о Н. В. Станкевичѣ. («Вѣстн. Европы» 1899 г. № 1 Январь).
 19. *Н. А. Бѣлсголовый*. Воспоминанія. Москва 1897 г.
 20. Сочиненія *Ф. М. Достоевскаго*. Т. XI. Дневникъ писателя. 1877 г.
 21. *Орестъ Миллеръ*. Русскіе писатели послѣ Гоголя. Ч. I. Спб. 1890 г.
 22. Сочиненія *Н. С. Тихонравова* Т. III. Ч. I. Москва 1898 г.
-



И. С. Тургеневъ.

I.

Дѣтскіе годы И. С. Тургенева.—Родители и воспитатели.—Первые впечатлѣнія.—Село Спасское.—Переѣздъ въ Москву.

Эпоха сороковыхъ годовъ была одной изъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ для русской литературы. Вслѣдъ за Гоголемъ появляется цѣлый рядъ талантливыхъ молодыхъ силъ, имена которыхъ стали для насъ теперь самыми близкими, дорогими именами. Толстой, Достоевскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій начали свое литературное поприще въ эту эпоху сороковыхъ годовъ,—они ея дѣти. Всѣ они выросли въ то время, когда крѣпостничество царствовало на Руси, жившей своею дореформенной жизнью. Крѣпостное право стояло еще прочно, но уже въ лучшихъ умахъ зрѣлъ протестъ противъ него. Воспитанные на идеяхъ запада, подъ вліяніемъ Шеллинга и Гегеля, воспринявшіе гуманистическіе взгляды Жоржъ Зандъ и Леру,—эти лучшіе люди, эти «крайніе идеалисты» сороковыхъ годовъ, не могли не протестовать противъ мрака, застоя и дикаго произвола. Старые устои, на которыхъ покоилась дореформенная Русь, нашли въ нихъ пламенныхъ враговъ. «Аннибаловская клятва», данная Бѣлинскимъ и Тургеневымъ,—клятва никогда не примиряться «съ отвратительнымъ недугомъ крѣпостного права», находила сочувственный откликъ во многихъ молодыхъ сердцахъ. Лучшіе изъ помѣщиковъ уже начинали стыдиться своихъ рабовладѣльческихъ правъ; общественная совѣсть начинала пробуждаться.

Люди сороковых годовъ приготовили ту почву, на которой выросло и создалося все освободительное движеніе шестидесятихъ годовъ.

Къ кружку этихъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ принадлежалъ и Тургеневъ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился въ Орлѣ 28 октября 1818 г. въ старинной дворянской семьѣ. Семья эта состояла изъ отца—Сергѣя Николаевича Тургенева, служившаго въ то время въ Елисаветградскомъ драгунскомъ полку, матери—Варвары Петровны, урожденной Лутовиновой, и старшаго сына—Николая, родившагося двумя годами ранѣе Ивана Сергѣевича.

Вскорѣ по рожденіи второго сына, семья покинула Орель и поселилась въ родовомъ имѣніи Варвары Петровны—селѣ Спасскомъ-Лутовиново, расположенномъ въ десяти верстахъ отъ уѣзднаго города Мценска.

Въ Спасскомъ и довелось «воспріять первыя впечатлѣнія бытія» будущему великому писателю. Впечатлѣнія эти были далеко не радостнаго свойства. Лишеній, нужды не испыталъ на себѣ Иванъ Сергѣевичъ, напротивъ того, полная чаша довольства и роскоши окружала его въ родительскомъ домѣ. Но за этимъ богатымъ домомъ тянулся безконечный, понурый рядъ избъ, гдѣ жило «сермяжное племя» рабовъ. И съ первыхъ же впечатлѣній будущій бытописатель этой деревни увидѣлъ картины деспотизма и произвола. Эти картины не были рѣдкой диковинкой,—онѣ были обычнымъ, зауряднымъ дѣломъ. Дѣтскій слухъ ежедневно ласкали стоны жертвъ, истязуемыхъ на конюшняхъ; вопли матерей и женъ, у которыхъ брали въ рекруты сыновей и ссылали въ Сибирь отцовъ, также нерѣдко слышалъ старинный барскій домъ. Въ немъ царила полновластной хозяйкой мать Тургенева; ея жестокій, властный и мстительный характеръ повелѣвалъ всѣми, начиная отъ побаивавшагося ея крутого нрава мужа, и кончая безотвѣтной толпою дворни и придавленныхъ крестьянъ. Типъ этой своенравной, крутой помѣщицы прекрасно очерченъ въ рассказѣ Тургенева «Муму» и теперь ни для кого не тайна, что, подъ именемъ «старой помѣщицы», Тургеневъ вывелъ свою мать.

По отношенію къ сыновьямъ Варвара Петровна не

проявляла также особой мягкости. Наказанія были жестоки: за всякую малость дѣтей драли немилосердно. «Да, въ ежовыхъ рукавицахъ держали меня въ дѣтствѣ,—вспоминалъ Тургеневъ—и матери своей я боялся, какъ огня». Впрочемъ, мать сама не особенно близко касалась воспитанія дѣтей, и они, какъ бывало въ то время всегда въ богатыхъ помѣщичьихъ семьяхъ, росли на рукахъ наемныхъ гувернеровъ изъ иностранцевъ: доморощенныхъ нянекъ и дядекъ изъ крѣпостныхъ.

Въ домѣ царилъ французскій языкъ, свой же родной былъ, конечно, въ загонѣ. Наемные гувернеры изъ иностранцевъ смѣнялись одинъ за другимъ; учителемъ же російской грамоты и притомъ добровольнымъ учителемъ оказался никто иной, какъ камердинеръ матери. Онъ первый познакомилъ мальчика съ русской литературой. Въ рассказѣ «Пунинъ и Бабуринъ» мы находимъ слѣдующія автобіографическія строки, посвященныя подобнымъ занятіямъ родной литературой:

«Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно; но больше его рассказовъ любилъ я чтенія, которыя онъ производилъ со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывалъ, когда, улучивъ удобную минуту, онъ внезапно, словно сказочный пустынный или добрый духъ, появлялся передо мною съ увѣсистой книгой подъ мышкой и, украдкой кивая длиннымъ кривымъ пальцемъ и таинственно подмигивая, указывалъ головой, бровями, плечами, всѣмъ тѣломъ на глубь и глушь сада, куда никто не могъ проникнуть за нами, и гдѣ невозможно было насъ отыскать! И вотъ, удалось намъ уйти незамѣченными; вотъ мы благополучно достигли одного изъ нашихъ тайныхъ мѣстечекъ; вотъ, мы сидимъ уже рядомъ, вотъ, уже и книга медленно раскрывается, издавая рѣзкій, для меня тогда неизъяснимо-пріятный запахъ плѣсени и старья! Съ какимъ трепетомъ, съ какимъ волненіемъ нѣмнотствующаго ожиданія гляжу я въ лицо, въ губы Пунина—въ эти губы, изъ которыхъ вотъ-вотъ полетѣтъ сладостная рѣчь! Раздаются, наконецъ, первые звуки чтенія! Все вокругъ исчезаетъ... нѣтъ, не исчезаетъ, а становится далекимъ, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатлѣніе чего-то дру-

желюбнаго и покровительственнаго!— Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокія травы заслоняють, укрываютъ насъ отъ всего остального міра; никто не знаетъ гдѣ мы, что мы — а съ нами поэзія, мы проникаемся, мы ушваемся ею, у насъ происходитъ важное, великое, тайное дѣло.. Пунинъ преимущественно придерживался стиховъ—звонкихъ, многшумныхъ стиховъ; душу свою онъ готовъ былъ положить за нихъ! Онъ не читаль, онъ выкрикиваль ихъ торжественно, заливчато, закатисто, въ носъ, какъ опьяненный, какъ изступленный, какъ Пивіа! И еще вотъ какая за нимъ водилась привычка: сперва прожужжитъ стихъ тихо, вполголоса, какъ бы бормоча... Это онъ называль читать начерно; потомъ уже грянетъ тотъ же самый стихъ набѣло, и вдругъ вскочить, подниметь руки — не то молитвенно, не то повелительно... Такимъ образомъ мы прошли съ нимъ не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чѣмъ старѣе были стихи, тѣмъ больше они приходились Пунину по вкусу), но даже «Россіаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россіада», меня въ особенности восхитила. Тамъ, между прочимъ, дѣйствуетъ одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ея позабыль, а тогда у меня и руки и ноги холодѣли, какъ только оно упоминалось!—«Да», говорилъ бывало Пунинъ, значительно кивая головой: Херасковъ—тотъ спуску не даетъ. Иной разъ такой выдвинетъ стишекъ—просто, зашибетъ... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а ужъ онъ—вонъ гдѣ! и трубить, аки кимваломъ! Зато ужъ и имя ему дано! одно слово: Херрасковъ!!» Ломоносова Пунинъ упрекаль въ слишкомъ простомъ и вольномъ слогѣ, а къ Державину относился почти враждебно, говоря, что онъ болѣе царедворецъ, нежели поета.

«Я тоже началъ читать стихи, или, какъ выражалась бабушка, воспѣвать канты.., даже попытался самъ нѣчто сочинить, а именно описаніе шарманки, въ которомъ находились слѣдующія два стишка:

«Вотъ вертится толстый валъ
И зубцами защелкаль».

Этому то неизвѣстному по имени человѣку Тургеневъ обязанъ болѣе, чѣмъ всѣмъ своимъ иностраннымъ гувернерамъ и дядькамъ. Онъ первый, такъ сказать, заронилъ въ воспріимчивую душу ребенка искру любви къ родному слову и своимъ простодушіемъ, своимъ восторженнымъ отношеніемъ къ русской словесности раздулъ эту тлѣющую искру. Благодаря ему, Тургеневъ еще въ дѣтствѣ полюбилъ родную природу и тамъ подъ шепотъ вѣтвей стараго сада, подъ однотонное чтеніе учителя и шелканье соловьевъ въ кустахъ цвѣтущей жимолости родилась его первая дѣтская греза, первый авторскій бредъ, выразившійся въ виршахъ, снисходительно одобренныхъ наставникомъ.

Когда въ домѣ совершались возмутительныя картины расправы и насилія, самодурства и тиранства, ребенокъ могъ на свободѣ отдаться инымъ впечатлѣніямъ, бродя по залушеннымъ аллеямъ стараго сада. Этотъ садъ казался «какой-то большой рощей, расположенной на плоской возвышенности; онъ по всѣмъ направленіямъ изрѣзанъ то длинными, прямыми, вѣчно тѣнистыми липовыми и березовыми аллеями, то узкими прихотливо изгибающимися дорожками, полузакрытыми роскошными кустами. Старыя сосны, ели и могучіе дубы, разбросанные тамъ и сямъ, разнообразятъ общее впечатлѣніе, а крутой спускъ къ пруду красиво заканчиваетъ картину». Прудъ этотъ,—какъ впослѣдствіи припоминалъ самъ Тургеневъ,—изобиловалъ рыбою. «Здѣсь,—разсказываетъ онъ,—водились не только караси и пискари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче совсѣмъ исчезнувшіе. Въ головѣ этого пруда засѣлъ густой лознякъ; дальше вверхъ, по обоимъ бокамъ густого косогора, шли сплошные кусты орѣшника, бузины, жимолости, терна, поросшіе снизу верескомъ и зорей. Лишь коегдѣ между кустами выдавались крохотныя полянки изумрудно-золотой, шелковистой, тонкой травы, среди которой, забавно пестрѣя своими розовыми, лиловыми, полевыми шапочками, выглядывали приземистыя сыроѣжки, и свѣтлыми пятнами загорались шарики «куриной слѣпоты». Тутъ по веснамъ пѣвали соловьи, свистѣли дрозды, куковали кукушки, тутъ и въ лѣтній зной стояла прохлада,—

и я любилъ забиваться въ эту глушь и чащу, гдѣ у меня были фаворитныя, постоянныя мѣстечки, извѣстныя, — такъ, по крайней мѣрѣ, я воображалъ, — только мнѣ одному».

Но старый садъ не долго ласкалъ своими впечатлѣніями мальчика. Въ 1827 г. семейство Тургеневыхъ покинуло Спасское и перебралось на житье въ Москву.

II.

Москва.—Пансіонъ Вейденгаммера.—Дворянскій пансіонъ.—Приготовление къ экзаменамъ.—Московскій университетъ.—Смерть отца.—Петербургскія впечатлѣнія.—Годы студенчества.—Плетневъ.—Литературныя встрѣчи и знакомства.—Первый дебютъ въ «Современникѣ».

Девятилѣтнимъ мальчикомъ Тургеневъ былъ помѣщенъ въ частный пансіонъ Вейденгаммера. Это былъ одинъ изъ многочисленныхъ въ то время пансіоновъ для барчуковъ, гдѣ дворянскія дѣти, получая «благодать не русскаго надзора», «учились понемногу чему нибудь и какъ нибудь». Дворянство чуждалось гимназій, считая ихъ убѣжищемъ для дѣтей разночинцевъ, «Весьма рѣдко, пишетъ въ своемъ циркулярѣ С. Уваровъ, бывшій тогда министромъ народнаго просвѣщенія, гимназій наши скивали довѣренность дворянскаго сословія, по духу коренныхъ учрежденій столь рѣзко еще отличеннаго отъ прочихъ». Вѣроятно, слѣдуя примѣру остального помѣщичьяго дворянства, руководствуясь тѣми же мотивами, родители Тургенева остановились на пансіонѣ Вейденгаммера, куда и помѣстили сына вскорѣ по переселеніи въ Москву. Но въ пансіонѣ Вейденгаммера Тургеневъ пробылъ недолго. 12-го августа 1829 г. онъ, вмѣстѣ со старшимъ братомъ Николаемъ, уже вступилъ въ число воспитанниковъ, такъ называемаго, дворянскаго пансіона, изъ котораго впослѣдствіи возникъ лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ. Предпочтеніе, отданное родителями Тургенева «дворянскому пансіону», имѣло за собою довольно вѣсское основаніе, такъ какъ послѣдній ставилъ главною цѣлью—приготовление своихъ питомцевъ для поступленія въ университетъ. Никакой подобной цѣли не преслѣдо-

вали другіе частныя пансіоны, гдѣ «питомцы, получая за поверхностное энциклопедическое образованіе значительныя чины», поступали по окончаніи курса прямо на службу, минуя университеты. Однако, пребываніе Тургенева въ дворянскомъ пансіонѣ было еще менѣе продолжительнымъ, чѣмъ у Вейденгаммера. Но въ памяти его сложились и уцѣлѣли довольно хорошія воспоминанія объ инспекторѣ пансіона—Краузе, который началъ учить его англійскому языку, и объ одномъ изъ русскихъ гувернеровъ, «отъ доски до доски» знавшаго наизусть «Юрія Милославскаго». Обыкновенно онъ сажалъ мальчика на колѣни и начиналъ свое восторженное повѣствованіе, къ которому жадно прислушивался Тургеневъ, ловя каждое слово.

Весьма трудно подыскать другую причину, кромѣ каприза скучающаго барства, для объясненій мотива, по которому родители снова взяли Тургенева изъ дворянскаго пансіона. Вообще, педагогическія соображенія, которыми руководились при воспитаніи будущаго писателя «земли русской», были не особенно сложны и не занимали виднаго мѣста въ семьѣ. Такъ, на ряду съ приглашенными въ домъ для преподаванія наукъ Тургеневу, двумя московскими знаменитостями того времени, Погорѣловымъ и Дубенскимъ, мы встрѣчаемъ и чувствительнаго нѣмца, о которомъ сохранился благодушный рассказъ самого Тургенева. Этотъ педагогъ, любившій читать ученикамъ Шиллера и проливавшій надъ книгою слезы, оказался простымъ «сѣдельникомъ» и его скоро уволили. Но, какъ бы то ни было, этому «чувствительному нѣмцу» пришлось первому познакомить Ивана Сергѣевича съ нѣмецкой литературой.

Съ особенной любовью Тургеневъ вспоминалъ о своемъ учителѣ словесности, упомянутомъ выше, Дубенскомъ. Это былъ человекъ рѣдкой честности, горячо преданный своему дѣлу, педагогъ старой школы, благоговѣнно чтившій авторитеты Батюшкова и Карамзина и упрямо не признавшій всякихъ новшествъ и въ томъ числѣ Пушкина. Онъ, подобно Тургеневскому Пунину*), не могъ слушать «сего со-

*) См. Тургенева соч. т. VIII «Пунинъ и Бабуринъ».

чинителя». Рѣзкой противоположностью этому отживавшему уже свой вѣкъ педагогу являлась личность Ивана Петровича Ключникова, въ ту пору юнаго студента московскаго университета. Ключниковъ преподавалъ Тургеневу всеобщую исторію и первый, «такъ сказать, установилъ нравственную связь» между своимъ ученикомъ и его будущими товарищами студентами по университету. Поклонникъ философіи Шеллинга, близкій другъ Станкевича, онъ проводилъ время въ совмѣстныхъ занятіяхъ съ послѣднимъ, изучая Шеллинга и «желая непременно исполнѣ понять его, ясно увидѣть ту точку, до которой могъ дойти умъ человѣческій въ свою долговременную жизнь». Такимъ образомъ, нѣмецкая философія, игравшая столь видную роль въ судьбахъ русской мысли тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и которую позднѣе, «окунувшись съ головою въ нѣмецкое море», принялся изучать Тургеневъ, встрѣтила его на порогѣ университетской жизни въ лицѣ своего пламеннаго поклонника—студента Ключникова.

Университетскіе вступительные экзамены сошли у Тургенева прекрасно: онъ не получилъ ни одной неудовлетворительной отмѣтки, несмотря на строгость экзаменаторовъ, удостоившихъ пріема изъ 167 человѣкъ лишь 25.

Московскій университетъ только что вступалъ на путь, хотя и чисто внѣшнихъ реформъ, которыми думали поправить плачевное состояніе этого «храма науки». Время, когда университетъ «усерднѣйше приглашалъ юношей всѣхъ состояній, желающихъ украсить разумъ свой многоразличными знаніями, удостоить оный вписаніемъ именъ своихъ въ число его слушателей», обѣщая за это оберъ-офицерскій чинъ, приходило къ концу. Въмѣсто просьбъ и обѣщаній, учреждены были строгіе вступительные экзамены, съ цѣлью поднять умственный уровень студенчества. О томъ, какъ поднимали этотъ уровень съ высоты кафедры, рѣчь будетъ впереди.

Въ сентябрѣ 1833 г. пятнадцатилѣтнимъ юношей Тургеневъ вступилъ въ число студентовъ московскаго университета. Подновленный введеніемъ новаго устава, храмъ науки представлялъ, однако, далеко не величе-

ственное зрѣлице. Въ немъ все еще жили старыя боги въ лицѣ давно уже отжившихъ традицій, отождествлявшихъ собою науку. О томъ, какъ высоки были требованія, предъявляемыя къ этой самой наукѣ и къ ея представителямъ, можетъ хорошо доказать тотъ фактъ, что перемѣщеніе профессоровъ съ кафедры одного предмета на другую, или полное закрытіе самой кафедры— было дѣломъ весьма зауряднымъ. Такъ, одинъ и тотъ же профессоръ Давыдовъ читалъ послѣдовательно— сначала философію, потомъ, вслѣдствіе уничтоженія кафедры послѣдней, преподавалъ математикамъ «высшую алгебру» и, наконецъ, снова обосновался на словесномъ факультетѣ, читая русскую словесность.

Плохая подготовка поступающихъ въ число студентовъ юношей съ домашнимъ образованіемъ, или изъ воспитанниковъ частныхъ пансіоновъ вызвала необходимость учрежденія перваго общеобразовательнаго курса. Преподаваніе на этомъ курсѣ по своему составу и объему не восходило за предѣлы гимназическаго ученія. Въ программу этого общеобразовательнаго курса входили: Чтеніе Св. Писанія, русская словесность, всеобщая исторія, физика и языки: латинскій, нѣмецкій и французскій. Къ факультетскимъ занятіямъ студенты допускались не иначе, какъ по окончаніи экзаменовъ изъ предметовъ общеобразовательнаго курса.

Этотъ курсъ и пришлось прослушать Тургеневу въ Москвѣ. Онъ слушалъ исторію словесности у Давыдова, всеобщую исторію у Погодина. «Младшій профессоръ русской словесности занималъ студентовъ практическими упражненіями въ російскомъ языкѣ, приспособляя оныя къ правиламъ, коими руководствовались образцовые отечественные писатели, и, если позволяло время, показывалъ силу и богатство російскаго языка». Этими «образцовыми писателями російскими» были, по мнѣнію младшаго профессора словесности, Ломоносовъ и Шишковъ, Дмитрій Ростовскій и Стефанъ Яворскій. Произведенія этихъ писателей должны были вполнѣ показать «богатство и силу російскаго языка» и вполнѣ удовлетворить «любопытныхъ искателей просвѣщенія». Но мы знаемъ, что любопытные искатели просвѣщенія не были

удовлетворены ни виршами Дмитрія Ростовскаго, ни «учеными изысканіями» Шишкова. Въ то время, когда съ высоты университетской кафедры рекомендовалось слушателямъ избрать «вождями своими Ломоносова и Хераскова»,—московскіе студенты восторженно привѣтствовали появленіе первыхъ произведеній Гоголя. «Они,—разсказываетъ С. Аксаковъ,—пришли отъ него въ восхищеніе и *первие* распространили въ Москвѣ громкую молву о новомъ великомъ талантѣ». Университетскія впечатлѣнія, глубоко западавшія въ души студенческой молодежи, давала не кафедра съ отвлеченными премудростями, а тѣ отдѣльные кружки, на которые группировалось современное студенчество. Здѣсь кипѣла настоящая жизнь, горѣла молодая мысль, чтобы вспыхнуть позднѣе яркимъ свѣточемъ.

Оффиціально-чиновное отношеніе профессоровъ къ своей наукѣ встрѣчало подобное-же отношеніе и со стороны даже лучшихъ студентовъ. Занимались оффиціальной наукой, только готовясь къ экзаменамъ, только «подъ вліяніемъ обстоятельствъ», ясно сознавая, что штудировать риторики Могилевскаго и Никольскаго—значить «дѣлать пропасть глупостей». Но въ отдѣльныхъ кружкахъ, изъ которыхъ особенно извѣстны кружокъ Станкевича и другой—Герцена, шла непрерывная работа мысли. Въ первомъ съ жаромъ изучали Шеллингову философію, изгнанную изъ университетскихъ программъ, во второмъ—занимались преимущественно изученіемъ политико-экономическихъ наукъ. Были, правда, и среди профессоровъ отдѣльныя личности, вродѣ напр. профессора Павлова, вносившія интересъ къ наукѣ въ студенческую среду. Аудиториі на его лекціяхъ буквально ломились отъ слушателей, но Павловъ былъ тѣмъ-же исключеніемъ изъ общей массы, какъ и предметы, преподаваемые имъ, могли лишь по какому либо недоразумѣнію быть названы «общимъ курсомъ физики», или «курсомъ сельскаго хозяйства». На этихъ лекціяхъ, говоритъ одинъ изъ его слушателей, «физикѣ было мудрено научиться, сельскому хозяйству невозможно». Но Павловъ чутко угадалъ запросы молодежи; самъ «горячій поклонникъ философіи Шеллинга и Окена, онъ излагалъ ихъ ученіе съ такой пластическою

ясностью, какой никогда не достигалъ ни одинъ натуръ-философъ, и такимъ образомъ возбуждалъ въ своихъ слушателяхъ охоту къ серьезному труду».

Московскій университетъ, въ которомъ Тургеневъ пробылъ всего одинъ годъ, имѣлъ, главнымъ образомъ, на него то вліяніе, которое вносили въ общій духъ студенчества его лучшіе представители—эти «искренніе романтики и крайніе идеалисты», способные бесѣдовать напролетъ ночи въ тѣсномъ кружкѣ «о предметахъ, согрѣвающихъ душу», способные «вспыхнуть, прослезиться отъ всякой прекрасной мысли, отъ всякаго благороднаго подвига». Длинный свитокъ дорогихъ именъ развернется предъ нами, если мы вспомнимъ, что эти искренніе романтики, эти крайніе идеалисты, были Бѣлинскій и Станкевичъ, Грановскій и Герценъ, вмѣстѣ со своими сотоварищами по кружку, по мыслямъ, настроенію и идеямъ. Всѣ они, кромѣ Грановскаго, принадлежали къ студентамъ московскаго университета. «Здѣсь, въ этой средѣ, сердце Тургенева впервые потрясено было благородною радостью великихъ ощущеній».

Смерть отца Ивана Сергѣевича, послѣдовавшая 30 октября 1834 года, и поступленіе старшаго брата Николая на службу въ Петербургъ, заставила семью Тургеневыхъ покинуть Москву.

Петербургскій университетъ еще менѣе, чѣмъ московскій, могъ назваться храмомъ науки. Профессора, читавшіе по учебникамъ, или, въ лучшемъ случаѣ, по собственнымъ запискамъ, студенты, зубрившіе слово въ слово «науку», читаемую съ кафедры — таковъ главный фонъ картины, которую представлялъ собою петербургскій университетъ.

Запретная для Москвы философія имѣла здѣсь свою отдѣльную кафедру, но, по свидѣтельству Грановскаго, философія, преподаваемая въ Петербургѣ Фишеромъ, была какая-то совсѣмъ «другая наука». Только молодые профессора М. С. Куторга и А. В. Никитенко вносили нѣкоторое оживленіе въ университетское преподаваніе. Среди студенчества не было той осмысленно-одухотворенной жизни, которая была ключемъ въ отдѣльныхъ московскихъ кружкахъ. Петербургскіе студенты, въ большинствѣ случаевъ,

вели разсыянную жизнь, коротая дни среди кутежей и пооекъ. Среди старыхъ профессоровъ, имѣвшихъ нѣкоторое вліяніе на молодежь, былъ Петръ Александровичъ Плетневъ. На личности Плетнева должно остановиться: въ жизни Тургенева онъ сыгралъ видную роль. Онъ былъ литературнымъ крестнымъ отцомъ молодого Тургенева, благодаря ему завязались первыя литературныя знакомства начинающаго писателя.

«Какъ профессоръ русской литературы, онъ не отличался большими свѣдѣніями; ученый багажъ его былъ весьма легокъ; за то онъ искренно любилъ «свой предметъ», обладалъ нѣсколько робкимъ, но чистымъ и тонкимъ вкусомъ, и говорилъ просто, ясно, не безъ теплоты. Главное: онъ умѣлъ сообщать своимъ слушателямъ тѣ симпатіи, которыми самъ былъ исполненъ—умѣлъ заинтересовать ихъ. Онъ не внушалъ студентамъ никакихъ преувеличенныхъ чувствъ, ничего подобнаго тому, что возбуждалъ въ нихъ, напр., Грановскій; да и повода къ тому не было—*non hic erat locus...* Онъ тоже былъ очень смиренъ; но его любили. Притомъ его, какъ чловѣка, прикосновеннаго къ знаменитой литературной плеядѣ, какъ друга Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго, Гоголя, какъ лицо, которому Пушкинъ посвятилъ своего Онѣгина,—окружилъ въ нашихъ глазахъ ореолъ. Всѣ мы наизусть знали стихи: «Не мысля гордый свѣтъ забавить, и т. д.».

«И дѣйствительно, Петръ Александровичъ подходилъ подъ портретъ, набросанный поэтомъ: это не былъ обычный комплиментъ, которыми такъ часто украшаются посвященія. Кто изучилъ Плетнева не могъ не признать въ немъ—

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты
Поэзіи живой и ясной,
Высокихъ думъ и красоты.

«Онъ также принадлежалъ къ эпохѣ, нынѣ безвозвратно прошедшей: это былъ наставникъ стараго времени, словесникъ, не ученый, но по-своему—мудрый».

«Оживленное созерцаніе, участіе искреннее, незаблѣмая твердость дружескихъ чувствъ и радостное покло-

неніе поэтическому — вотъ весь Плетневъ». Этому-то Плетневу, въ началѣ 1837 года, Тургеневъ, будучи уже на 3-мъ курсѣ с.-петербургскаго университета, отдалъ на разсмотрѣніе «первый плодъ» своей музы—фантастическую драму «Стенію». На слѣдующей лекціи Плетневъ, съ обычнымъ своимъ благодушіемъ, разобралъ это юношеское произведеніе и, выйдя изъ зданія университета и встрѣтивъ меня,—разсказываетъ самъ Тургеневъ, — на улицѣ, онъ подзвалъ меня къ себѣ и отечески пожурилъ меня, причемъ, однако, замѣтилъ, что во мнѣ имѣется смѣлость отнести къ нему нѣсколько стихотвореній; Плетневъ выбралъ двѣ пьесы и, нѣсколько позднѣе, напечаталъ ихъ въ «Современникѣ», основанномъ Пушкинымъ и перешедшимъ послѣ кончины великаго поэта подъ его редакцію. Этими двумя пьесами, («Вечеръ» и «Къ Венерѣ Медицейской») въ «Современникѣ» 1838 года, Тургеневъ въ первый разъ выступилъ въ печати.

Плетневу же обязанъ Тургеневъ своими первыми литературными встрѣчами и знакомствами. Въ домѣ Плетнева онъ, мимолетно правда, увидѣлъ Пушкина, который былъ для него въ ту пору «чѣмъ то вродѣ полубога». Здѣсь же онъ познакомился съ Кольцовымъ, кн. В. Одоевскимъ и другими литераторами. Но за блестящимъ кругомъ талантовъ и дарованій, собиравшихся въ гостинной Плетнева, не ступевывалась свѣтлая личность самого хозяина. «Я любилъ бесѣдовать съ нимъ», говорилъ въ своихъ воспоминаніяхъ Тургеневъ. «До самой старости онъ сохранилъ почти дѣтскую свѣжесть впечатлѣній и, какъ въ молодые годы, умилялся передъ красотой: онъ и тогда не восторгался ею. Онъ не разставался съ дорогими воспоминаніями своей жизни; онъ лелѣялъ ихъ, онъ трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкинѣ, о Жуковскомъ—было для него праздникомъ. И любовь къ родной словесности, къ родному языку—къ самому его звуку не охладѣла въ немъ; его коренное, чисто-русское происхожденіе сказывалось въ этомъ: онъ былъ, какъ извѣстно, изъ духовнаго званія...» «Любовь къ родной словесности, къ родному языку», одушевлявшія старика Плетнева, не были чужды и молодому Тургеневу. Онъ самъ страстно, со всѣмъ юношескимъ пыломъ любилъ

ихъ, самъ дѣлая первыя робкія попытки въ стихахъ и внимательно изучая произведенія великихъ поэтовъ, начиная отъ родного Пушкина и кончая Байрономъ и Шекспиромъ.

Петербургскія впечатлѣнія смѣнялись затишьемъ родныхъ полей, куда съ первыми вешними днями забирался Тургеневъ, и тамъ съ ружьемъ за плечами онъ бродилъ по лѣсамъ, набираясь новыхъ впечатлѣній, чтобы потомъ развернуть ихъ въ яркой картинѣ своихъ «Записокъ Охотника».

III.

Окончаніе университета.—Поѣздка за границу.—«Пожаръ на морѣ». — Берлинъ и знакомство съ Грановскимъ и Станкевичемъ.— Поэма «Параша». — Знакомство съ Бѣлинскимъ.—Бѣлинскій и его кружокъ.—Славянофилы и западники.—Поэмы.—Драматическія произведенія.—Андрей Колосовъ.

Въ 1836 г. Тургеневъ окончилъ курсъ университета. Что могъ дать университетъ при тогдашнемъ составѣ своихъ профессоровъ любознательному, пытливому уму, — на это не можетъ быть двухъ различныхъ отвѣтовъ. «Дипломированный» юноша Тургеневъ ясно почувствовалъ и скудость пріобрѣтенныхъ въ университетѣ знаній и немощь униженной различными давленіями, самой науки, преподававшейся въ Петербургѣ. Время было тяжелое; атмосфера и безъ того душная сгущалась все болѣе и болѣе. Ходили слухи о закрытіи университета, который вскорѣ подпалъ подъ дѣйствіе новаго устава; «поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ надъ всѣмъ, такъ называемымъ, учено-литературнымъ вѣдомствомъ, а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни!» Таково было время конца тридцатыхъ годовъ. И вполне понятно, почему заграничные университеты начинаютъ наполняться русскими студентами, рвавшимися съ родины на чужбину, несмотря на всѣ преграды и препоны, съ которыми было связано полученіе заграничнаго паспорта и баснословную цѣну послѣдняго. Тургеневъ также мечтаетъ о поѣздкѣ за-границу, чтобы тамъ, «окунувшись съ головою въ нѣмецкое море», услышать голосъ настоящей науки.

Весною 1838 г. онъ, какъ узникъ изъ темницы, вырвался на волю. По дорогѣ въ Берлинъ, во время морского переѣзда изъ Петербурга на Штеттинъ, Тургеневъ едва не заплатилъ жизнью. Пароходъ «Николай I», на которомъ онъ находился, сгорѣлъ въ виду Травемюнде, и только счастливая случайность помогла Тургеневу спастись.

Въ Берлинѣ, или вѣрнѣе, въ стѣнахъ университета, била ключемъ жизнь. Послѣ петербургскихъ лекцій Фишера по философіи, Тургеневъ услышалъ живое, свободное и яркое изложеніе Вердера — ученика и послѣдователя властителя думъ молодежи Гегеля, — Цумта, Ранке и Риттера. Въ кружкѣ русскихъ студентовъ, среди которыхъ находились Станкевичъ, Грановскій, Бакунинъ и Невѣровъ, шли дни студенческой жизни, то за горами лекцій и книгъ, то среди шумныхъ споровъ и рѣчей. Съ Грановскимъ, съ которымъ Тургеневъ былъ знакомъ еще по университету въ Петербургѣ, онъ видѣлся рѣдко. «Мы не сошлись» говоритъ Тургеневъ. «Говоря правду я тогда не стоилъ того, чтобы сойтись съ нимъ». Грановскій, «чуждый педантизма, исполненный плѣнительнаго добродушія, уже тогда внушалъ то невольное уваженіе къ себѣ, которое многіе потомъ испытали. Отъ него вѣяло чѣмъ-то возвышенно чистымъ; ему было дано (рѣдкое и благодатное свойство) не убѣжденіями, не доводами, а себственной душевной красотой возбуждать прекрасное въ душѣ другого; онъ былъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, — идеалистъ не въ одиночку. Онъ имѣлъ точно право сказать: «ничто человѣческое мнѣ не чуждо» и потому и его не чуждалось ничто человѣческое». Таковъ былъ Грановскій въ годы студенчества въ Петербургѣ, таковымъ же остался и во время своего пребыванія въ Берлинѣ и такимъ же сошелъ въ свою безвременно раннюю могилу...

Грановскій былъ старше лѣтами Тургенева, и въ то время, когда въ Берлинѣ послѣдній переживалъ «Sturm und Drang» своей юности, Грановскій уже болѣе вдумчиво и сознательно смотрѣлъ на окружающее. Въ этомъ, кажется, главная разгадка того, почему они не сошлись

близко, почему въ самобичеваніи Тургеневъ говоритъ, что «онъ не стоилъ того, чтобы сойтись съ Грановскимъ».

Погоня за эффектами и жажда оригинальничанья свойственны зеленой молодости. И, если по признанью лица дружественнаго и сердечно расположеннаго къ Тургеневу, даже въ сороковыхъ годахъ, Иванъ Сергѣевичъ при первомъ появленіи въ петербургскомъ обществѣ гонялся за эффектами, то во время берлинскаго студенчества подобнаго рода поступки были весьма заурядны. И тогда вполне будетъ понятно, что исполненный плѣнительнаго добродушія Грановскій, «этотъ идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова», не могъ сблизиться съ Тургеневымъ, для котораго эффектъ и оригинальность поступка и фразъ были выше правды. Благодаря этому же, товарищескія отношенія Станкевича къ Тургеневу также никогда не переходили черты, отдѣляющей простое товарищество отъ дружбы. Самъ Тургеневъ признается въ этихъ грѣхахъ своей молодости и умолчаніе о нихъ было непростительною ложью, ложью оскорбительной для тѣни великаго писателя. И безъ эффектовъ лживыхъ фразъ и пошлаго идеализированья она дорога каждому, мало-мальски любящему родную литературу.

«Станкевичъ, — говоритъ прямо Тургеневъ, — не очень то меня жаловалъ и гораздо больше знался съ Грановскимъ и Невѣровымъ; я очень скоро почувствовалъ къ нему уваженіе и нѣчто въ родѣ боязни, проистекавшей, впрочемъ, не отъ его обхожденія со мною, но отъ внутренняго сознанія собственной недостойности и лживости». «Повторяю, что во время моего пребыванія въ Берлинѣ я не добился довѣренности, или расположенія Станкевича, онъ, кажется, ни разу не былъ у меня; Грановскій былъ всего только разъ, и при мнѣ у нихъ не было откровенныхъ разговоровъ».

Но личности, подобныя Грановскому и Станкевичу, — эти безусловно чистыя личности двухъ друзей идеалистовъ — были ободряющимъ примѣромъ для юнаго Тургенева. И въ этомъ отношеніи хотя и не короткое знакомство съ ними Тургенева, его пребываніе вмѣстѣ съ Грановскимъ и Станкевичемъ въ одномъ университетѣ не могли не дѣйствовать благотворно, какъ добрый зара-

зительный примѣръ, какъ нѣчто бодрящее и освѣжающее умъ и душу юнаго студента.

Что это было именно такъ—показываетъ признаніе самого Тургенева. Много лѣтъ спустя, создавая своего Рудина, онъ писалъ: «образъ Станкевича носился предо мною, но все это только блѣдный очеркъ».

Единственное уцѣлѣвшее письмо къ Тургеневу Станкевича, помѣченное Флоренціей 11 Іюня (1840 г.), письмо, не лишенное подробностей интимной жизни Станкевича, свидѣтельствуетъ лучше всякихъ комментарій о томъ довѣрїи и расположенїи, которое питалъ послѣдній къ Тургеневу и какъ-бы опровергаетъ приведенное выше признаніе Тургенева, что «Станкевичъ не особенно его жаловалъ». На самомъ дѣлѣ, въ дружескомъ кружкѣ Станкевича, Грановскаго, Невѣрова и семейства Фроловыхъ, Тургеневъ былъ радушно принятъ, но, конечно, ни Грановскій, ни Станкевичъ не могли отнестись къ нему съ тою же дружелюбною близостью, какъ къ остальнымъ членамъ кружка, за которыми стояли и долготѣнїя симпатїи и тѣсная дружба, основанныя на общности взглядовъ и убѣжденій. Кромѣ того, зеленая юность Тургенева и, какъ слѣдствіе ея, жажда оригинальничанья и погоня за эффектами и «злоупотребленіе своимъ даромъ фантазіи»—все это нисколько не сближало его съ кружкомъ, не дѣлало крѣпче этой связи.

Въ 1840 г. Иванъ Сергѣевичъ посѣтилъ родину и послѣ недолгаго пребыванія въ Спасскомъ отправился снова за границу. Онъ былъ въ Италїи и Римѣ и снова вернулся въ Берлинъ, гдѣ втеченіе года слушалъ лекціи въ университетѣ. Берлинскій университетъ далъ ему много, если только не всѣми своими познаніями Тургеневъ обязанъ его профессорамъ.

Вдали отъ родины, вдали отъ привычной, знакомой съ дѣтства обстановки, яснѣе и рельефнѣе вставали темныя стороны русской дореформенной жизни. Ихъ было много, и «почти все»—говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія,—отвращенія, наконецъ. Надо было или покориться, смиренно побрести общей колеей, по избитой

дорогѣ, либо отвергнуть разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу».

Мягкая, женственная натура Тургенева не могла сразу «отвергнуть, оттолкнуть отъ себя всѣхъ и вся»; пытливый умъ, жаждавшій дѣятельности, не могъ также покориться и идти по проторенной дорожкѣ «общей колеей», по которой гуськомъ бредутъ ординарныя натуры.

Тургеневъ мечтаетъ о профессурѣ, о педагогической карьерѣ, минуя обычную для того времени чиновничью дорогу. Но тотчасъ же по приѣздѣ въ Москву возникаетъ серьезное препятствіе. Московскій университетъ, гдѣ намѣренъ былъ Тургеневъ держать экзаменъ на магистра философіи, которой онъ особенно занимался въ Берлинѣ, не имѣлъ уже подобной кафедры. Она была уничтожена еще въ 1826 г., и самая наука признана ненужною. Недолгое пребываніе Тургенева въ Москвѣ свело его съ представителями славянофильства, тогда едва лишь нарождавшагося, съ Аксаковымъ, Хомяковымъ и Кирѣевскими. Но славянофильское ученіе не привлекло къ себѣ Тургенева. Пребываніе на Западѣ уже наложило свой слѣдъ на строй его убѣжденій, на весь складъ его міросозерцанія, развившагося подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи. Еще въ то время, когда «я бросился съ головою «въ нѣмецкое море», долженствовавшее очистить, возродить меня, говоритъ И. С., когда я вынырнулъ изъ его волнъ, я, все-таки, очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда». Это было нѣчто совершенно противоположнымъ возрѣніямъ славянофиловъ, вѣровавшихъ, что «съ востока засіяетъ свѣтъ», и вполне понятно, если западникъ Тургеневъ не могъ найти симпатій своимъ возрѣніямъ въ кружкѣ чуждыхъ ему по духу и органически противоположныхъ по складу мыслей славянофиловъ.

Съ мечтами о профессорской карьерѣ Тургеневъ переѣзжаетъ въ Петербургъ, но чисто внѣшнее обстоятельство сразу измѣняетъ его мечты и планы. Благодаря размовкѣ съ матерью и ограниченію своихъ денежныхъ средствъ, Иванъ Сергѣевичъ бросаетъ мечты о карьерѣ ученаго и въ 1842 г. поступаетъ чиновникомъ особыхъ порученій при канцеляріи министерства внутреннихъ дѣлъ.

Надо сознаться, что чиновникомъ Тургеневъ оказался крайне плохимъ, и «общая колея» мало улыбалась ему. Два года этой службы не дали ничего будущему писателю, заглушавшему въ себѣ сознаніе пустоты окружающей среды различными шутками и эксцентричными выходками. Къ этому времени относится ходячее тогда мнѣніе о Тургеневѣ, какъ о позёрѣ, о «человѣкѣ, который «ѣсть не можетъ безъ аффектаціи», какъ о лицѣ, никогда не имѣющемъ въ своемъ распоряженіи искренняго слова и чувства и дѣлающимъ занимательнымъ и интереснымъ только съ той минуты, когда выходитъ завѣдомо изъ истины и реальнаго міра».

Легкомысленное поведеніе Тургенева, вызванное молодостью, или, что въ просторѣчьи называется, «мальчишествомъ» было поставлено ему въ величайшую вину. О томъ, какой мучительный разладъ духа происходилъ въ молодомъ Тургеневѣ, врядъ ли кто догадывался. Его считали вольнодумцемъ, понабравшимся гегеліанскихъ взглядовъ, нѣмецкимъ буршемъ и даже опаснымъ человекомъ—это съ одной стороны; съ другой—онъ неизмѣнно рисовался позёромъ, аффектированнымъ свѣтскимъ юношей, фатомъ, у котораго нѣтъ ничего естественнаго, индивидуально яркаго и самобытнаго.

Чиновникъ, сидѣвшій за французскими романами въ канцеляріи и пописывавшій украдкой стихотворенія, не могъ пользоваться также особымъ расположеніемъ начальства. Французскіе романы и стихи, однако, болѣе занимали его, чѣмъ расположеніе начальства, особенно съ того момента, когда эти стихотворенія начали появляться на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1841 года.

Весна 1843 года была настоящей весной для литературной дѣятельности Тургенева. Въ это время появилась въ Петербургѣ отдѣльнымъ изданіемъ первая поэма («Параша») молодого автора, скромно скрывшаго свою фамилію подъ инициалами *Т. Л.* *). Самъ Тургеневъ счи-

*) Тургеневъ-Лутовиновъ.

таеть, отбрасывая свои первые опыты, что «этой поэмой онъ вступилъ на литературное поприще».

Въ самый день своего отъезда въ Спасское, Тургеневъ «сходилъ къ Бѣлинскому и «не назвавшись, оставилъ его человѣку одинъ экземпляръ поэмы».

Въ майской книжкѣ «Отеч. Зап.», полученныхъ Тургеневымъ уже въ деревнѣ, была помѣщена пространная и сочувственная рецензія Бѣлинскаго по поводу поэмы начинающаго автора. Разбирая поэму и угадывая въ молодомъ писателѣ непосредственное дарованіе, Бѣлинскій писалъ: «Стиль въ поэмѣ обнаруживаетъ необыкновенный поэтическій талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящная и тонкая иронія, подъ которой скрывается столько чувства,—все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она тоже, что талантъ, по крайней мѣрѣ, безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ поэмѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣшивается».

Въ этой поэмѣ есть дѣйствительныя красоты, замѣчательныя до сихъ поръ по силѣ поэтическаго выраженія строки. Какое напр., яркое описаніе южнаго знойнаго дня достойное кисти настоящаго художника:

«Томительно-глубокой синевою.
Все небо полно; какъ больной въ недугѣ,
Земля горитъ и сохнетъ; подъ скалою
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ—
И движется, и дышетъ и молчитъ...
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неутомимымъ,
Могучимъ солнцемъ рдѣютъ... дивный видъ!
А вотъ, зарывшись весь въ песокъ блестящій,
Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій
Любуется имъ съ завистью—я самъ
Имъ тоже любовался по часамъ.

Сочувственный отзывъ вообще не щедрога на похвалы Бѣлинскаго, произвелъ на Тургенева ошеломляющее впечат-

тлѣніе. «Я почувствовалъ больше смущенія, чѣмъ радости», признается самъ Тургеневъ—«и когда въ Москвѣ Кирѣевскій (П. В.) подошелъ ко мнѣ съ поздравленіями, я поспѣшилъ отказаться отъ своего дѣтища, утверждая, что сочинитель «Параши»—не я».

Лѣтомъ того-же года—въ жизни И. С. произошло не менѣе знаменательное явленіе. Мы говоримъ о знакомствѣ съ Бѣлинскимъ. Имя послѣдняго было давно уже извѣстно Тургеневу, еще по первымъ его критическимъ статьямъ въ «Молвѣ» и «Телескопѣ». О Бѣлинскомъ давно уже ходили самыя разнорѣчивыя легенды, и въ то время, когда молодежь преклонялась предъ геніальнымъ критикомъ, изъ стараго лагеря распускались слухи, что Бѣлинскій—это недоучившійся студентъ, выгнанный изъ университета за развратное поведеніе. «Въ тогдашнее темное подпольное время сплетня играла большую роль во всѣхъ сужденіяхъ литературныхъ и иныхъ».

Бѣлинскій въ то время жилъ на дачѣ въ Лѣсномъ. «Онъ занималъ одну изъ тѣхъ сбитыхъ изъ барочныхъ досокъ и оклеенныхъ грубыми пестрыми обоями клѣтокъ, — которыя въ Петербургѣ называются дачами». Здѣсь-то, тотчасъ-же по своемъ пріѣздѣ изъ Москвы, Тургеневъ и посѣтилъ Бѣлинскаго. Знакомый лишь по нѣсколькимъ случайнымъ встрѣчамъ съ Бѣлинскимъ, здѣсь Тургеневъ сошелся съ нимъ окончательно, и видѣлись они каждый день. «Лѣто было чудесное,—вспоминаетъ Тургеневъ,—и мы съ Бѣлинскимъ много гуляли по сосновымъ рошицамъ... Мы сѣли на сухой и мягкій, усѣянный тонкими иглами мохъ, и тутъ-то происходили между нами долгіе разговоры». Главнымъ предметомъ этихъ бесѣдъ была, конечно, философія Гегеля, которую Тургеневъ изучалъ въ Берлинѣ. Въ ознакомленіи съ системой гегелевской философіи Бѣлинскаго Тургеневъ сыгралъ видную роль. И вполне понятными становятся строки письма Бѣлинскаго къ Тургеневу, когда нѣсколько позднѣе онъ писалъ уѣхавшему за границу Тургеневу: «Когда вы собирались въ путь, я зналъ напередъ, чего лишаюсь въ васъ,—но когда вы уѣхали, я увидалъ, что потерялъ въ васъ больше, нежели думалъ».

Сближеніе Тургенева съ Бѣлинскимъ повело къ сбли-

женію же съ кружкомъ, группировавшимся около критика «Отечеств. Зап.». «Всѣ,—пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ И. И. Панаевъ,—начиная съ Бѣлинскаго, полюбили» Тургенева. «Отеч. Зап.» пріобрѣли въ немъ замѣчательнаго сотрудника; кружокъ нашъ—блестящаго и умнаго собесѣдника, хорошо знакомаго съ иностранными литературами, слегка (?) посвященнаго въ тайны нѣмецкой философіи и мастерскаго рассказчика, увлекающагося тогда черезъ-чуръ своей прихотливой фантазіей». Кружокъ, въ которомъ жилъ Бѣлинскій, и куда теперь только что вошелъ Тургеневъ, былъ тѣсно сплоченъ. Онъ поддерживался силою духа и убѣжденій своего главара, т. е. Бѣлинскаго. Къ этому кружку принадлежали И. И. Панаевъ, М. А. Языковъ, Кульчицкій и П. В. Анненковъ, А. И. Герценъ, и вскорѣ присоединились молодыя силы литературы: К. Д. Кавелинъ, Н. А. Некрасовъ, И. А. Гончаровъ, Д. В. Григоровичъ и др.

Въ письмѣ къ одному изъ своихъ московскихъ знакомыхъ Бѣлинскій пишетъ о Тургеневѣ: «это—человѣкъ необыкновенно умный; бесѣды и споры съ нимъ отводятъ мнѣ душу. Тургеневъ очень хорошій человѣкъ и я легко сближаюсь съ нимъ».

На Бѣлинскаго находили полосы увлеченія къмъ-либо,—такъ, въ этотъ періодъ онъ увлекался Тургеневымъ, но вскорѣ же, по признанію самого Тургенева, охладѣлъ къ его поэтическимъ работамъ. Но, разбирая вышедшую въ 1845 г. отдѣльною книжкой поэму Тургенева «Разговоръ», Бѣлинскій произнесъ слѣдующую правдиво-вѣрную оцѣнку юнымъ произведеніямъ Тургенева: «Г. Тургеневъ — поэтъ въ истинномъ и современномъ значеніи этого слова. Его муза не обѣщаетъ намъ новой эпохи поэтической дѣятельности, новой великой школы искусства,

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ
Ея лица необщимъ выраженемъ.

«Произведенія г. Тургенева рѣзко отдѣляются отъ произведеній другихъ русскихъ поэтовъ въ настоящее время»; «въ нихъ есть мысль, ознаменованная печатью дѣйствительности и современности, и, какъ мысль даровитой

натуры, всегда оригинальная. Поэтому отъ г. Тургенева многого можно ожидать въ будущемъ».

Этотъ отзывъ, конечно, не могъ остаться безъ вліянія на Тургенева. У него наступаетъ время лихорадочной работы, когда неустановившійся еще талантъ ищетъ себѣ прямого пути въ различныхъ областяхъ искусства. Тургеневъ, какъ мы видѣли, началъ свою литературную дѣятельность со стиховъ, мало-по-мало онъ переходитъ къ прозѣ, испытывая свою силу въ новомъ жанрѣ—въ драматическомъ искусствѣ. Драматическій эпизодъ въ одномъ дѣйствіи «Неосторожность» былъ первою попыткою въ этомъ родѣ. Наконецъ, въ «Петербургскомъ Сборникѣ», изданнымъ Некрасовымъ въ 1846 г., появляется его первый беллетристическій рассказъ «Андрей Колосовъ». Затѣмъ, идетъ опять рядъ стихотвореній и поэмъ, и снова двѣ прозаическія вещи: «Три Портрета» и «Брёттеръ». Этими послѣдними, уже возбуждившими вниманіе публики, заканчивается, такъ сказать, подготовительный періодъ дѣятельности Тургенева. Творческій талантъ мало-по-малу расчищаетъ себѣ свой истинный путь, чтобы засіять своимъ настоящимъ, яркимъ свѣтомъ въ слѣдующемъ произведеніи, которое явилось началомъ къ знаменитымъ «Запискамъ Охотника».

«Записки Охотника» вывели Тургенева на истинный путь, доказали его огромный, «чисто творческій талантъ» въ существованіи «творчества», въ которомъ сомнѣвался даже Бѣлинскій. Къ «Запискамъ Охотника» мы и перейдемъ въ слѣдующей главѣ.

III.

«Записки Охотника». — Мнѣніе Бѣлинскаго о первыхъ разсказахъ Тургенева. — Отъѣздъ за границу. — Аннибаловская клятва. — Значеніе «Записокъ Охотника» въ глазахъ самого автора — Смерть Гоголя и статья Тургенева. — Арестъ. — Ссылка въ Спасское. — Жизнь въ деревнѣ.

«Записки Охотника» появились въ первой книжкѣ «Современника»*), возобновленнаго Некрасовымъ и Панаевымъ въ 1847 г. Въ этой книжкѣ, въ отдѣлѣ подъ рубрикой «Смѣсь», былъ помѣщенъ первый разсказъ «Хорь и Калинычъ», къ которому Панаевъ прибавилъ, «съ цѣлью расположить» читающую публику, скромное заглавіе «Изъ записокъ Охотника».

За этимъ первымъ разсказомъ послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ, вышедшихъ позднѣе отдѣльнымъ изданіемъ подъ общимъ названіемъ «Записокъ Охотника». Читающая публика горячо встрѣтила появленіе первыхъ разсказовъ изъ этой серіи; Бѣлинскій, однако, уже мучимый предсмертнымъ недугомъ, отнесся къ нимъ болѣе чѣмъ сдержанно. Про первый разсказъ онъ сказалъ Тургеневу: «онъ общаетъ въ васъ замѣчательнаго писателя — въ будущемъ», т. е. повторилъ почти свой прежній отзывъ, данный о поэмѣ «Разговоръ». «Ермолай и Мельничиха» не Богъ знаетъ что, бездѣлка, а хорошо, умно и дѣльно, съ мыслью». О слѣдующихъ разсказахъ въ письмѣ къ П. В. Анненкову Бѣлинскій пишетъ уже совсѣмъ безъ свойственнаго ему увлеченія талантомъ Тургенева: «съ чего это вы, батюшка, превознесли «Лебедянь» Тургенева? Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ разсказовъ его, а послѣ вашихъ похвалъ онъ мнѣ показался даже довольно слабымъ. Цензура не вымарала изъ него ни единого слова, потому что рѣшительно нечего

*) Подробнѣе о возникновеніи „Современника“ см. „Вся Россія“, біографическій очеркъ Н. А. Некрасова.

вычеркивать. «Малиновая вода» мнѣ не очень понравилась, потому что я рѣшительно не понялъ Степушки. «Въ Уздномъ врачѣ» я не понялъ ни единого слова, и потому ничего не скажу о немъ». «Болѣе другихъ мнѣ понравились «Бирюкъ» и «Смерть».

Въ то время, какъ первый рассказъ И. С. «Хорь и Калинычъ» печатался, самъ Тургеневъ уже былъ за границей. Его влекло въ Берлинъ, гдѣ въ тотъ моментъ находилась знаменитая пѣвица Полина Виардо Гарсія. Онъ увидѣлъ ее въ первый разъ въ Петербургѣ, и ей суждено было привязать къ себѣ на всю жизнь «однолюбца» Тургенева. Заграницей «въ тяжелыя минуты раздумья о судьбахъ своей родины» писались «Записки Охотника», и самъ Тургеневъ придаетъ имъ значеніе политическаго протеста противъ насилія и гнета крѣпостнаго права. Онъ объясняетъ въ своихъ воспоминаніяхъ и главную причину своего отъѣзда за границу тѣмъ, что ему «нужно было удалиться отъ своего врага, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ; носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ — крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца — съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва...» «Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить».

Но нужно сознаться, что протестъ, выраженный въ «Запискахъ Охотника» противъ крѣпостничества, былъ выраженъ далеко не сильно. Этого протеста не замѣтилъ даже такой чуткій критикъ, какъ Бѣлинскій, въ послѣдній періодъ своей дѣятельности, особенно цѣнившій въ художественныхъ произведеніяхъ общественный элементъ. Если подобное упущеніе со стороны Бѣлинскаго объяснять только его уже слабѣющими, гаснущими силами, его усталостью, то чѣмъ объяснить тогда его возбужденный, горячій отзывъ объ «Антонѣ-Горемыкѣ» Д. В. Григоровича, появившемся не задолго до «Хоря и Калиныча» Тургенева (1846 г.)? Если мѣрить силу этого «видимаго» протеста тѣмъ впечатлѣніемъ, какое произвели «Записки Охотника» на тогдашняго шефа жандармовъ

графа Бенкендорфа, то, конечно, можно придти къ поразительнымъ выводамъ. Извѣстно, что цензура сороковыхъ годовъ находила, даже въ «благонамѣренныхъ» писаніяхъ, нѣчто вольтерьянствующее и вообще отличалась преувеличенною мнительностью.

«Записки Охотника», это рядъ отдѣльныхъ картинъ, нарисованныхъ сочною, правдивою кистью великаго художника. И весь этотъ рядъ разнообразныхъ картинъ, собранный въ одно цѣлое, представляетъ изъ себя одну поэму русскаго быта дореформеннаго періода времени. Это цѣлая эпопея русской жизни, гдѣ въ дивныхъ образахъ и замѣчательныхъ по живости краскахъ возсозданы отжившіе уже типы помѣщиковъ, помѣщицъ и крестьянъ. Описанія природы, въ которыхъ Тургеневъ не зналъ и не знаетъ себѣ равныхъ соперниковъ, дышутъ замѣчательной свѣжестью, колоритностью и тонкой наблюдательностью вдумчиваго художника. Возьмите, хотя напр. «Бѣжинъ лугъ», этотъ чистѣйшій шедевръ Тургеневской поэзіи въ частности и русской вообще, или другіе рассказы, вродѣ напр. «Хоря и Калиныча», «Пѣвцовъ», «Татьяны Борисовны», «Чертопханова и Недолюскина», «Лѣсъ и степь» и вамъ ясно станетъ, что не протестъ «противъ своего исконнаго врага—крѣпостного права, не ожесточенный бой съ этимъ врагомъ вдохновлялъ Тургенева, когда онъ писалъ эти рассказы. Протеста здѣсь нѣтъ, и, наоборотъ, какая то простодушная прелесть разлита по всѣмъ этимъ рассказамъ, выхваченнымъ прямо изъ той жизни, надъ которой царило во всей своей силѣ крѣпостное право. Конечно, такой чуткій художникъ, какимъ былъ Тургеневъ, не могъ равнодушно или объективно—спокойно отнестись къ величайшему злу нашей русской жизни, и нота протеста, негодованіе противъ него уже болѣе ясно звучать въ рассказахъ: «Ермолай и Мельничиха», «Бурмистръ», «Льговъ», «Два помѣщика», «Петръ Ивановичъ Каратаевъ», «Свиданіе». Но это не крикъ возмущеннаго человѣка, не месть борца. По самому складу своей художественной натуры, по всей организаціи своего мягкаго, скорѣе женственнаго характера—Тургеневъ всего менѣе былъ способенъ быть борцомъ. И напрасно, кажется намъ, придавать «Запискамъ Охотника» какое то

протестующее, боевое значеніе, котораго, кстати, не усмотрѣлъ въ нихъ ни кружокъ «Современника», ни самъ Бѣлинскій. Отъ этого нисколько не умаляется значеніе «Записокъ», какъ чисто художественнаго произведенія, значеніе котораго не изгладилось ни временемъ, ни обстоятельствами. Въ нихъ развертывается такая правдивая картина русской дореформенной жизни (не говоря уже объ ихъ художественной, поэтической сторонѣ), что ни одинъ будущій историкъ русской жизни не можетъ пройти мимо «Записокъ Охотника». Ихъ значеніе, какъ всякаго геніальнаго произведенія не можетъ быть временнымъ, мимолетнымъ и, переходя отъ поколѣнія къ поколѣшю, онѣ будутъ говорить все тѣмъ же понятнымъ и яснымъ языкомъ высокихъ поэтическихъ образовъ о быломъ, давно минувшемъ. И, даже когда это минувшее отойдетъ въ область преданій, покроется мракомъ забвенія—не забудутся «Записки Охотника»—эта дѣйствительно выразительная и художнически правдивая эпопея русской жизни. Таковъ удѣлъ великаго таланта, не знающаго тлѣнія.

Въ 1850 г. Тургеневъ получилъ извѣстіе о смерти матери. Это обстоятельство вызвало его въ Россію. Въ «Спасскомъ», перешедшемъ къ И. С. по наслѣдству, онъ не медля отпустилъ всѣхъ дворовыхъ и перевелъ желающихъ изъ остальныхъ крестьянъ на оброкъ.

Весь этотъ и слѣдующій годы онъ провелъ въ деревнѣ, бывая наѣздомъ то въ Петербургъ, то въ Москвѣ. Въ началѣ 1852 г. вышли отдѣльнымъ изданіемъ «Записки Охотника», и въ томъ же году, произошелъ арестъ Тургенева, вызванный его некрологомъ объ умершемъ Гоголѣ. «Въ то время, рассказываетъ Головачева-Панаева, строго смотрѣли, чтобы литераторамъ не оказывали никакихъ особенныхъ почестей. Тургеневъ былъ въ отчаяніи, когда запретили его статейку, и говорилъ Некрасову и Панаеву, что онъ пошлетъ ее въ Москву.

«Панаевъ не совѣтовалъ ему этого дѣлать, потому что и такъ Тургеневъ былъ на замѣчаніи, вслѣдствіе того, что носилъ трауръ по Гоголѣ и, дѣлая визиты своимъ свѣтскимъ знакомымъ, слишкомъ либерально осуждалъ петербургское общество въ равнодушій къ такой

потерѣ, какъ Гоголь, и читаль свою статейку, которую носилъ всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензоровъ. Когда Панаевъ упрасиваль Тургенева быть осторожнымъ, то онъ на это отвѣтилъ: «За Гоголя я готовъ сидѣть въ крѣпости».

Панаева дѣлаеть вполне допустимую догадку, что, «вѣроятно эту фразу» Тургенева повторилъ еще гдѣ нибудь, потому что Дубельтъ, встрѣтясь на вечерѣ въ одномъ домѣ съ Панаевымъ, со своей улыбкой сказалъ ему: «одному изъ сотрудниковъ вашего журнала хотѣлось посидѣть въ крѣпости, но его лишили этого удовольствія».

Некрологъ о Гоголѣ, запрещенный петербургской цензурой, благополучно прошелъ въ «Моск. Вѣд.». Но самъ Тургенева былъ арестованъ и посаженъ на мѣсяць «на съвзую». Въ некрологѣ Тургенева писалъ:

«Гоголь умеръ!—Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова?—Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ внезапна, что намъ все еще не хочется ей вѣрить. Въ то самое время, когда мы всѣ могли надѣяться, что онъ нарушить, наконецъ, свое долгое молчаніе, что онъ обрадуетъ, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія,—пришла эта роковая вѣсть!—Да, онъ умеръ, этотъ человекъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертію, назвать великимъ; человекъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи нашей литературы; человекъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ!—Онъ умеръ, пораженный въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ, въ разгарѣ силъ своихъ, не окончивъ начатаго дѣла, подобно благороднѣйшимъ изъ его предшественниковъ... Его утрата возобновляетъ скорбь о тѣхъ незабвенныхъ утратахъ, какъ новая рана возбуждаетъ боль старинныхъ язвъ. Не время теперь и не мѣсто говорить объ его заслугахъ — это дѣло будущей критики; должно надѣяться, что она пойметъ свою задачу и оцѣнитъ его тѣмъ безпристрастнымъ, но исполненнымъ уваженія и любви судомъ, которымъ подобные ему люди судятся передъ лицомъ потомства; намъ теперь не до того: намъ только хочется быть однимъ изъ отголосковъ той великой скорби, которую мы чувствуемъ разлитую повсюду вокругъ насъ; не оцѣнять намъ хочется,

но плакать; мы не въ силахъ говорить теперь спокойно о Гоголѣ... самый любимый, самый знакомый образъ не-ясень для глазъ, орошенныхъ слезами... Въ день, когда его хоронить Москва, намъ хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться съ ней въ одномъ чувствѣ общей печали. Мы могли взглянуть въ послѣдній разъ на его безжизненное лицо; но мы шлемъ ему издалека нашъ прощальный привѣтъ—и съ благоговѣйнымъ чувствомъ слагаемъ дань нашей скорби и нашей любви на его свѣжую могилу, въ которую намъ не удалось, подобно москвичамъ, бросить горсть родимой земли! — Мысль, что прахъ его будетъ покоиться въ Москвѣ, наполняетъ насъ какимъ-то горестнымъ удовлетвореніемъ. Да, пусть онъ покоится тамъ, въ этомъ сердцѣ Россіи, которую онъ такъ глубоко зналъ и такъ любилъ, такъ горячо любилъ, что одни легкомысленные или близорукіе люди не чувствуютъ присутствія этого любовнаго пламени въ каждомъ имъ сказанномъ словѣ! Но невыразимо тяжело было-бы намъ подумать, что послѣдніе, самые зрѣлые плоды его генія погибли для насъ невозвратно—и мы съ ужасомъ внимаемъ жестокимъ слухамъ объ ихъ истребленіи...

«Едва-ли нужно говорить о тѣхъ немногихъ людяхъ, которымъ слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе неумѣстными... Смерть имѣетъ очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумѣнія—все смолкаетъ передъ самою обыкновенною могилой! онѣ не заговарятъ надъ могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное мѣсто, которое оставить за нимъ исторія, мы увѣрены, что никто не откажется повторить теперь же вслѣдъ за нами: миръ его праху, вѣчная слава его имени!»

Этотъ невинный въ сущности некрологъ великаго Гоголя, скорбь о потерѣ котораго была столь естественна въ сердцѣ писателя-Тургенева, явился, конечно, не болѣе, какъ поводомъ къ аресту Тургенева. На него уже давно смотрѣло косо цензурное вѣдомство. Этому причиной успѣхъ «Записокъ Охотника», трактующихъ «о мужикѣ», и долгое пребываніе за границей, и близкое соприкосновеніе съ кружкомъ Бѣлинскаго, имя котораго было въ то время опальнымъ и, наконецъ, личные взгляды главы цен-

зурнаго вѣдомства—Мусина-Пушкина, непріязненно относившагося къ Гоголю.

На «сѣзжей», или вѣрнѣе, подъ кровомъ смотрительской квартиры, куда перевела Тургенева любезность его почитательницъ—дочерей смотрителя—Тургеневымъ написанъ рассказъ «Муму»—одинъ изъ самыхъ яркихъ, задушевныхъ его рассказовъ, трактующій о помѣщицѣмъ произволѣ и безсиліи челоуѣка-раба. Въ этой деспоткѣ помѣщицѣ, лишившей своего дворника послѣдняго друга, кудлатой «Муму», Тургеневъ изобразилъ свою мать и взаимныя отношенія крестьянъ и помѣщиковъ Спасскаго.

Вообще въ періодъ времени съ 1846 г. по 1852 г. Тургеневъ проявилъ особую жизнедѣятельность. Имъ написаны въ это время: «Пѣтушковъ», «Нахлѣбникъ» (комедія), «Завтракъ у предводителя» (комедія) «Дневникъ лишняго челоуѣка», «Мѣсяць въ деревнѣ» (комедія), «Три встрѣчи», «Разговоръ на большой дорогѣ», «Провинціалка» (комедія), не считая рассказовъ изъ серіи «Записокъ Охотника» и мелкихъ вещей, въ видѣ стихотвореній и рецензій.

Послѣ окончанія срока ареста, Тургеневъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на родину «безъ права выѣзда».

По воспоминаніямъ Д. В. Григоровича, вмѣстѣ съ Дружининымъ и Боткинымъ посѣтившаго Тургенева въ его деревенской глуши, можно возсоздать приблизительную картину той обстановки, среди которой Тургеневъ проводилъ свои «подневольные дни» въ Спасскомъ.

«На всемъ—пишетъ Григоровичъ—лежала печать запущенности, не мѣшавшей, впрочемъ, живописности въ цѣломъ. Вокругъ дома и деревни разстилалась плоская черноземная земля; надо было отправляться версты за двѣ, чтобы встрѣтить холмы и лѣса».

Распорядокъ дня былъ въ домѣ приблизительно слѣдующій: вставали по деревенски рано. «По утрамъ Тургеневъ удалялся въ свой маленькій кабинетъ, гдѣ находилась также его постель, загороженная ситцевыми ширмами»; мы расходились по своимъ комнатамъ съ книгой или занимались писаніемъ писемъ.

«Послѣ обѣда къ подѣзду подавали длинныя дрожки, такъ-называемыя разлюли, мы всѣ усаживались

не выключая Дьянки, любимой собаки Тургенева и неразлучной его спутницы, и отправлялись въ лѣсъ. Никогда, я думаю, лѣсъ Тургенева не оглашался такими взрывами хохота, какъ тогда, во время этихъ прогулокъ.

«По вечерамъ мы собирались въ диванной, и кто-нибудь изъ насъ громко читалъ новую статью изъ толстыхъ журналовъ, присылаемыхъ изъ Москвы и Петербурга. Вечеръ проходилъ иногда въ бесѣдѣ, приправляемой оживленнымъ споромъ»; чтобы еще болѣе разнообразить деревенскую жизнь друзья затѣяли написать комедію и поставить ее на домашней сценѣ въ старыхъ хоромахъ Спасскаго.

«Тургеневъ самъ вызвался играть помѣщика; онъ добродушно согласился даже произнести выразительную фразу, внесенную въ его роль и сказанную будто-бы имъ на пароходѣ во время пожара: «Спасите, спасите меня, я единственный сынъ у матери!» Боткинъ взялъ на себя роль сластуна, брюзгливаго, ворчливаго статскаго совѣтника; Дружининъ долженъ былъ играть роль желчнаго литератора; мнѣ предоставлена была роль врага Дружинина, преслѣдующаго его всюду и на этотъ разъ рѣшившагося съ нимъ покончить».

Но изъ замкнутаго дружескаго кружка, для котораго собственно и предназначался этотъ спектакль, празднество получило широкую огласку.

«Намѣреніе потѣшить только самихъ себя и двухъ—трехъ близкихъ сосѣдей совсѣмъ не удалось. Слухъ о спектаклѣ въ Лутовиновѣ быстро распространился по уѣзду; со всѣхъ концовъ посыпались письма съ просьбой получить приглашеніе. Тургеневъ все время страшно суетился; въ отвѣтъ на протесты съ нашей стороны, онъ увѣрялъ, что отказать просьбамъ—значило-бы перессориться со всѣмъ уѣздомъ, и поминутно повторялъ извѣстную французскую фразу:

— *Le vin est tirè, il faut le boire!*

Вечеромъ, въ день спектакля, съѣхалось столько публики, что половина принуждена была слушать стоя.

«Сцена изъ Эдипа не произвела никакого эффекта, несмотря на то, что Тургеневъ, въ своемъ парикѣ и бордѣ, дѣлавшемъ его похожимъ на короля Лира, очень

хорошо изобразилъ разслабленнаго, выжившаго изъ ума старца».

Среди частыхъ наѣздовъ друзей-литераторовъ проходили довольно оживленные дни въ Спасскомъ. Но Тургеневъ томился воспоминаніями по своимъ заграничнымъ друзьямъ и рвался въ Бадень.

Въ 1855 г. ему удалось, благодаря ходатайству и просьбамъ за него вліятельныхъ лицъ, выѣхать за границу.

V.

Отъѣздъ за границу.—«Рудинъ».—«Дворянское гнѣздо». — «Наканунѣ». — Разрывъ съ «Современникомъ».

Личная жизнь Ивана Сергѣевича за границей въ кругу семейства Віардо, къ которому, выражаясь словами Тургенева, онъ «прикрѣпился», можетъ быть рассказана лишь въ нѣсколькихъ словахъ: для нея еще не наступила пора, сбрасывающая завѣсу интимныхъ отношеній даже великихъ людей по отношенію къ ихъ еще живымъ современникамъ.

Тургеневъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, которые могутъ любить лишь разъ въ жизни, оставаясь неизмѣнно вѣрными своей первой и послѣдней привязанности. Онъ всю жизнь прожилъ холостякомъ въ семьѣ Віардо, перекочевывая изъ Бадена въ Парижъ, изъ Парижа въ Буживаль. У него были хорошія средства, но онъ часто нуждался въ деньгахъ, несмотря на эти средства. Поѣздки по Европѣ, жизнь за границей стоили ему дорого. Изрѣдка онъ заглядывалъ на родину, однако, эти наѣзды всегда были непродолжительны.

Но, если отъ личной жизни Тургенева обратиться къ жизни его духа, сказавшагося къ усиленной творческой работѣ, нельзя не признать, что годы, проведенные имъ за границей, были замѣчательно благотворны для

развитія его таланта. Тургеневъ въ эти годы достигаетъ полной зрѣлости своего дарованія, и это особенно замѣтно въ «Рудинѣ» — первомъ его романѣ, появившемся въ печати въ 1856 году.

На далекой родинѣ Тургенева происходилъ въ то время тотъ небывалый общественный подъемъ энергіи и духа, который характеризуетъ собою эпоху движенія, называемую началомъ «шестидесятыхъ годовъ».

И, словно въ отвѣтъ этому общему запросу времени, Тургеневъ даетъ въ своемъ «Рудинѣ» романъ полный общественнаго значенія. Да, это былъ именно отвѣтъ на запросъ времени, котораго, какъ всякій чуткій художникъ, Тургеневъ не могъ не понимать. Онъ самъ былъ сыномъ своей эпохи, своего времени, стоявшій головою выше толпы, какъ и подобаеть стоять настоящему художнику, «властителю думъ». Тревожные вопросы мучили его; вдали отъ тревоженій русской жизни онъ могъ яснѣе и рѣзче схватить стороны этой жизни, рельефнѣе выразить ихъ въ образахъ, навѣваемыхъ воспоминаніями о родинѣ. Прототипомъ Рудина ему послужилъ извѣстный Бакунинъ. Рудинъ, этотъ лучший представитель отживающей уже эпохи сороковыхъ годовъ, этотъ крайній идеалистъ, въ которомъ «не духъ празднаго безпокойства живетъ»; огонь любви къ истинѣ горитъ въ немъ», по словамъ Лежнева. «И видно, продолжаетъ Лежневъ въ бесѣдѣ съ Рудинымъ, несмотря на всѣ твои дрызги, онъ горитъ въ тебѣ сильнѣе, чѣмъ во многихъ, которые даже не считаютъ себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называютъ интриганомъ». Рудинъ благородень, уменъ, даровитъ, но у него полное безволіе. Безволіе — болѣзнь его, — хроническая болѣзнь, унаслѣдованная отъ ряда поколѣній, воспитанныхъ на почвѣ всѣхъ ужасовъ крѣпостничества. Онъ платится за грѣхи отцовъ и дѣдовъ, воздвигавшихъ свое благополучіе на угнетеніи, притѣсненіи и тиранствѣ. Рудинъ — горячъ, порывомъ живетъ онъ, подъ вліяніемъ его только можетъ дѣйствовать, потому что ни къ какой работѣ не приучены, не закалены его руки и нервы. Онъ многое можетъ схватить умомъ, понять, но «свершить ему ничего не дано». Рудинъ находитъ себѣ смерть на бар-

рикадахъ, потому что обычная, простая по обстановкѣ смерть не способна была бы въ немъ пробудить «порыва геройства», но на баррикады онъ пойдетъ, какъ герой, и героемъ умретъ со знаменемъ въ рукахъ. Онъ ищетъ *подвига*, тогда какъ жизнь со своими обычными буднями требуетъ лишь *дѣла*.

Но люди, подобные Рудину, вносили въ затхлость атмосферы, среди которой жило русское общество, освѣжающее дыханіе—они вносили въ нее свѣтъ и движеніе. Ихъ проповѣдь была нужна, она гнала сонъ окружающаго, она говорила, что не вѣченъ застой мысли, будила, двигала, въ особенности, молодую мысль и поднимала упавшій духъ. Прежде чѣмъ создать настоящее дѣло, нужна была почва, которая бы приняла въ себя первыя сѣмена,—всходы будутъ послѣ...

Рудины сдѣлали свое дѣло, и въ исторіи русскаго самосознанія имъ отведена своя страница, къ которой нельзя отнестись безъ любви, безъ сожалѣнія о томъ, что силы Рудиныхъ, ихъ умъ, дарованія не могли развернуться во всей своей яркости, потому что при тогдашнихъ условіяхъ русской жизни Рудины вообще не были ко двору...

Критика не оцѣнила «Рудина» вполне, въ особенности—современная автору, и Тургеневъ, разочарованный въ своихъ силахъ, писалъ Боткину: «Въ отставку! Это не вспышка, повѣрь мнѣ, это выраженіе или плодъ медленно созрѣвшаго убѣжденія». «Таланта съ особенною фізіономією и цѣлостностью во мнѣ нѣтъ».

Но это было минутное облачко раздраженія нервной натуры Тургенева, и не въ отставку спѣшилъ онъ тогда, когда въ головѣ зрѣли планы новыхъ романовъ. Вскорѣ же появляется въ печати «Ася» и за ней въ 1859 г. «Дворянское гнѣздо».

Образъ «Лизы»—этотъ глубоко-поэтическій образъ—нарисованъ Тургеневымъ съ мастерствомъ первокласснаго художника, и весь романъ этотъ замѣчательнъ, какъ по строгой, отчетливой рисовкѣ характеровъ, такъ и по цѣльности впечатлѣнныя.

Здѣсь нѣтъ ни одного лишняго штриха, части стройно гармонируютъ съ цѣлымъ, и вообще по своему построению «Дворянское гнѣздо» одинъ изъ самыхъ совершенныхъ романовъ Тургенева. Крупный художникъ слова развернулся теперь вполне въ Тургеневѣ. Сравнительно слабый успѣхъ романа среди современной критики легко находить объясненіе въ томъ обстоятельстве, что боевая, поглощенная вопросами дня критика не могла отнестись особенно сочувственно ни къ главной героинѣ повѣсти, Лизѣ, ни къ Лаврецкому. Смиренно-кроткій, цѣломудренно-простой образъ Лизы не вязался съ идеаломъ «о героинѣ» тогдашняго времени. Еще меньше такому требованію отвѣчала фигура Лаврецкаго.

Гораздо сочувственнѣе отнеслась критика къ слѣдующему роману «Наканунѣ». Центральныя фигуры Елены и Инсарова выписаны, сравнительно съ другими, блѣдно. Но если въ «Рудинѣ» и «Дворянскомъ гнѣздѣ» героямъ суждены лишь благіе порывы, но свершить ничего не дано, за то въ «Наканунѣ» является именно человѣкъ живого дѣла — Инсаровъ. Инсаровъ прямо противоположенъ Рудину, Рудинъ уменъ, прекрасно образованъ, горячъ и талантливъ. Инсаровъ, по характеристикѣ Берсенева, «умный, да, даровитый — не знаю, не думаю». Онъ не горитъ и не кипитъ, подобно Рудину, но и не остываетъ, за то скоро; онъ на дѣлѣ тотъ же, что и на словахъ. Если у Рудина не было своей дороги, своего яснаго, и не расплывчатаго идеала, то у Инсарова есть и эта дорога и свой идеалъ». Это то ясное сознаніе своего идеала и дѣлаетъ Инсарова головою выше многихъ и многихъ очень умныхъ людей. «Берсенева можетъ быть ученѣе, даже умнѣе... но онъ передъ нимъ такой... маленькій», — говоритъ Елена въ своемъ дневникѣ. Правда, Инсаровъ не русскій, его характеръ выработала иная почва, возростила иная среда. Русская жизнь, героями которой были Рудины и Лаврецкіе, не могла взростить человека подобнаго Инсарову. Всѣ условія этой жизни исключали всякую возможность для роста и склада подобныхъ людей. «Отчего онъ не Русскій? — спрашиваетъ Елена и отлично понимаетъ сама, что «онъ не могъ быть русскимъ». Тургеневъ сдѣлалъ Инсарова гражданиномъ маленькой Бол-

гаріи, изнывающей подъ гнетомъ чуждаго ига. Инсаровъ ея герой. Вдали отъ родины онъ думаетъ лишь о ней, имъ руководить мысль «освободить свою отчиму». Если Рудинъ безотчетно искалъ и жаждалъ славныхъ дѣлъ и подвиговъ и умеръ на баррикадахъ за чужое дѣло, то Инсаровъ уже давно нашелъ свое дѣло и кончить жизнь за него съ яснымъ сознаниемъ, что иначе и быть не можетъ, потому что не «онъ хочетъ, *то* хочетъ». Это «то», т. е. опредѣленный идеаль, сложилось въ прочное построение у Инсарова, и въ этомъ его сила. У Рудиныхъ были идеалы не менѣе прекрасные, еще болѣе широкіе съ общечеловѣческой точки зрѣнія, но не было того, чтобы эти идеалы красной нитью проходили въ ихъ жизни, направляя все: и планы и дѣйствія въ одну точку. У Рудина нѣтъ ничего подобнаго, но въ этой цѣльности вся сила Инсарова. Эту силу изъ всѣхъ окружающихъ поняла первая Елена, т. е. русская женщина, дитя новаго поколѣнія. Мечты не удовлетворяютъ ее, она ищетъ дѣла, жаждетъ «дѣятельности, дѣятельнаго добра». Но ея исканія остались бы напрасными, не приложимыми въ русской современной ей жизни. И вотъ, въ средѣ мечтающихъ, умныхъ и талантливыхъ Шубиныхъ, Курнатовскихъ и Берсеневыхъ появляется новый, въ полномъ смыслѣ этого слова, человѣкъ. Онъ, подобно Еленѣ, жаждетъ дѣла, но не напрасно, не все жаждетъ его, какъ чего то неопредѣленнаго и утопичнаго, онъ является съ яснымъ представленіемъ о немъ, съ отчетливымъ идеаломъ, за который не задумается отдать все. И Елена чувствуетъ въ Инсаровѣ съ первой встрѣчи героя своего сердца. Она, не задумываясь, бросаетъ «праздно-болтающихъ» и уходитъ съ Инсаровымъ прочь отъ родины, гдѣ нѣтъ приложенія ни ея молодой энергіи, ни ея кипящимъ жаждой активной дѣятельности силамъ. И, когда даже Инсаровъ умеръ, она не пришла на родину. Личное горе она принесла въ жертву горю тысячъ, десятковъ тысячъ борющихся и погибающихъ людей». Тамъ, говоритъ она, готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія... останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни... А вернуться въ Россію, — зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?... «Для широкой дѣятельности нѣтъ тамъ открытаго попри-

ща», но «въ нашемъ обществѣ есть уже мѣсто великимъ идеямъ и сочувствіямъ», и «не далеко то время, когда этимъ идеямъ можно будетъ проявиться на дѣлѣ». «Тогда и въ литературѣ появится полный, рѣзко и живо очерченный образъ русскаго Инсарова». «Придетъ же онъ, наконецъ, этотъ день!» Онъ близокъ, какая-нибудь ночь раздѣляетъ насъ отъ него, мы «наканунѣ» его.

Новые люди, дѣти новаго поколѣнія идутъ на смѣну старикамъ и они-то должны внести въ дѣло ту «энергію, послѣдовательность и гармонію сердца и мысли, которую не знали отцы».

Этотъ типъ новаго русскаго человѣка, человѣка дѣла, а не мечтателя, не утописта появится скоро. Мы «наканунѣ» его. Онъ появится въ литературѣ въ лицѣ Базарова въ слѣдующемъ по времени романѣ Тургенева «Отцы и дѣти».

Въ нашемъ біографическомъ очеркѣ мы должны отмѣтить одно обстоятельство, игравшее важную роль въ жизни Тургенева. Это его разрывъ съ прежнимъ кружкомъ «Современника» и съ Некрасовымъ въ частности. Разрывъ произошелъ на почвѣ личныхъ отношеній Тургенева къ редакціи, пропустившей въ одномъ изъ номеровъ статью, непріятную для авторскаго самолюбія Ивана Сергѣевича. На этой почвѣ личныхъ отношеній стоитъ Головачева-Панаева и въ своихъ воспоминаніяхъ, но кажется болѣе вѣроятнымъ будетъ здѣсь то, что «Современникъ», сгруппировавшій кругомъ себя новыя талантливныя силы, въ лицѣ Добролюбова и Чернышевскаго, призналъ руководящимъ критеріемъ служебную дѣятельность искусства, которое Тургеневъ считалъ самодовлѣющимъ. Люди дѣла и чернаго труда, впитавшіе въ себя закваску иной среды, также не могли быть особенно по душѣ эстетіку и баричу Тургеневу. По крайней мѣрѣ, этимъ хорошо объясняется его лаконичное требованіе отъ Некрасова: «либо онъ, либо Добролюбовъ». Во всякомъ случаѣ, въ размолвкѣ двухъ друзей, какими были Некрасовъ и Тургеневъ, сплетня и услужливая клевета играли не послѣднюю роль...

«Наканунѣ» появилось уже въ «Русскомъ Вѣстникѣ»;

въ 1859 г. Тургеневъ порвалъ всякую связь съ «Современникомъ».

Спустя три года, появляется въ первомъ изъ названныхъ журналовъ его знаменитые «Отцы и дѣти» — романъ по своей художественной обработкѣ, по широтѣ своего замысла превосходящій, все написанное Тургеневымъ.

VI.

„Отцы и дѣти“.—Критика по поводу „Отцовъ и дѣтей“.—Мнѣніе Тургенева относительно этого романа.—„Дымъ.“—„Новь“.—Личная жизнь И. С.—Тоска по Россіи.—Пріѣздъ на родину.—Пушкинскіе дни.

Борьба двухъ поколѣній *отцовъ*, воспитанныхъ на идеализмѣ и эстетикѣ, доживающихъ свой вѣкъ на шаткихъ условіяхъ крѣпостного права, готоваго завтра же рухнуть, и *днтей*, обосновавшихъ свой символъ вѣры на отрицаніи и реализмѣ — служитъ основой Тургеневскаго романа.

Тургеневъ замѣчательно ярко обрисовалъ и тѣхъ и другихъ, объективно нарисовавъ правдивую, вѣрную картину подобной борьбы. Барская эстетика и идеализмъ отцовъ смѣшны, непонятны дѣтямъ, вышедшимъ изъ другой среды. Если отцы были горды лишь своими прекрасными, но ни къ чему не обязывавшими мечтами, то «дѣти» желаютъ одного: дѣла. Они могутъ признавать, или отрицать, но не желаютъ ничего принимать на вѣру. Дѣло и опытъ для нихъ выше всего.

«Вы вотъ уважаете себя и сидите сложа руки», «вы бы не уважали себя и тоже бы дѣлали», — говоритъ Базаровъ одному изъ отцовъ — Павлу Петровичу Кирсанову. А между тѣмъ среди другихъ изъ поколѣнія отцовъ, Павелъ Петровичъ считалъ себя очень практичнымъ, и хотя «хозяйственные дразги наводили на него тоску,

какъ на всякаго «истаго барина», однако, онъ являлся передовымъ изъ помѣщиковъ и по своимъ либеральнымъ взглядамъ, и по своему гуманному отношенію къ народу; народъ, какъ истый баринъ изъ либераловъ, онъ весьма любилъ, но лишь на почтительномъ отдаленіи; на близкой же дистанціи онъ не особенно долюбивалъ мужицкій духъ, морщился и прибѣгалъ къ одеколону. Его братъ Николай Петровичъ пошелъ еще дальше: онъ ввелъ у себя вольнонаемный трудъ, но, вѣроятно, благодаря барской разсѣянности и забывчивости, не отмѣнилъ и оброка. Хотя онъ и былъ душевладѣльцемъ, но этого слова не любилъ и называлъ себя «фермеромъ». «Лѣкарскій сынъ и дьячковскій внукъ» Базаровъ вышелъ изъ другой рабочей среды, чуждой изнѣженному барству. Онъ, какъ Инсаровъ, чувствуетъ свою связь съ народомъ, изъ котораго самъ вышелъ, подобно первому, онъ врагъ всякой фразы, утопій и мечтаній. «Природа не храмъ, а мастерская, и человекъ въ ней работникъ»,—это его глубокое убѣжденіе, основанное на опытѣ, воспринятое въ той суровой школѣ дѣйствительности, которую съ измала прошелъ Базаровъ. Базаровъ скептикъ по своему отношенію къ окружающему его міру, но сомнѣнія не чужды его уму, только они ловко скрыты отъ постороннихъ глазъ. Къ людямъ онъ относится полупрезрительно, свысока, но это отношеніе не похоже на горделивое самомнѣніе, вышедшаго въ люди ничтожества. Напротивъ того, сознание собственнаго ничтожества мучитъ его, поселяетъ въ немъ «скуку и злость». Самодовольства нѣтъ въ немъ. Вся его натура изломанная, двойственная. Онъ все отрицаетъ, но болѣе на словахъ, потому что въ душѣ его шевелится сомнѣніе и въ этомъ все-отрицаніи.

Въ романѣ Базаровъ умираетъ въ молодыхъ годахъ, едва вступивъ на стезю жизни, далеко не развернувши своихъ силъ; «проживи онъ долѣе, уцѣлѣй Базаровъ отъ тифа—писалъ Герценъ—онъ навѣрное-бы развился вонъ изъ базаровщины... Наука спасла-бы Базарова, онъ пересталъ-бы глядѣть на людей свысока, съ нескрываемымъ презрѣніемъ». Базаровщина болѣзнь, и «болѣзнь эта къ лицу только до окончанія университетскаго курса, она, какъ прорѣзываніе зубовъ, совершеннолѣтію не пристала».

Врядъ-ли какое-либо другое литературное произведе-
ніе надѣлало столько шума, породило столько толковъ въ
обществѣ и критическихъ статей въ журналистикѣ
какъ романъ Тургенева «Отцы и Дѣти». Самъ Тургеневъ,
словно предчувствуя возможность подобныхъ кривотолковъ
относительно Базарова, заносить въ свой дневникъ, помѣ-
ченный 30 іюлемъ 1861 г., слѣдующее: «Часа полтора
тому назадъ я кончилъ, наконецъ, свой романъ... Не
знаю, каковъ будетъ успѣхъ,—«Современникъ», вѣроятно,
обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова и не повѣритъ,
что во все время писанія я чувствовалъ къ нему неволь-
ное влеченіе»... Въ «Современникѣ» дѣйствительно вскорѣ
появилась болѣе ядовитая, чѣмъ талантливая, отличаю-
щаяся болѣе софизмами, чѣмъ умомъ, статья Антоновича.
Это была настоящая «подсизживающая» критика-памфлетъ
и на Базарова и на самого автора романа. Статья была
первымъ залпомъ по воробьямъ и журнальные воробьи
встрепенулись и зачирикали свои пѣсни, повторяя основ-
ной мотивъ г. Антоновича, обвиняя Базарова во всѣхъ
грѣхахъ и попутно не забывая и самого автора. Было-
бы скучно повторять и воскрешать въ памяти читателя
весь тотъ разноязычный хоръ крикливыхъ и нестрой-
ныхъ голосовъ, раздавшихся противъ романа, начиная съ
передового «Современника» и кончая различными под-
воротнями журналистики. «Тургеневъ питаетъ злобу къ
молодежи, онъ на сторонѣ отцовъ». Это эффектное, бю-
щее на рекламу, обвиненіе было брошено весьма мѣтко.
Есть обвиненія, въ которыхъ трудно оправдаться,—обви-
ненія, легко воспринимаемыя толпою безъ анализа, безъ
критики, прямо на вѣру.

Толпа поступаетъ такъ всегда, не иначе поступила она
и съ Тургеневымъ. Его обвинили «въ мракобѣси, отста-
лости, въ оскорбленіи молодого поколѣнія». Но этого
мало. Въ другомъ лагерѣ Базарова также не поняли, и
отсюда уже ползутъ упреки «въ низкопоклонствѣ предъ мо-
лодымъ поколѣніемъ. «Базаровъ униженъ Тургеневымъ»,
восклицалъ г. Антоновичъ—«вы ползаете у ногъ База-
рова», кричитъ другой уже изъ лагеря «отцовъ». Къ своимъ
героямъ, «г. Тургеневъ питаетъ какую-то личную нена-
висть и неприязнь, какъ будто они лично сдѣлали ему

когда-нибудь обиду или пакость, и онъ старается отомстить имъ на каждомъ шагу, какъ человѣкъ, лично оскорбленный»...—писалось въ «Современникъ».—Это памфлетъ, гдѣ въ лицѣ Базарова выведенъ Добролюбовъ, это пасквиль на молодое поколѣніе.

Наоборотъ, Каткову казался Базаровъ «чуть не апопеезою «Современника». «Если и не въ апопеезу возведенъ Базаровъ, то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ окружающее»,— писалъ недовольный этой апопеезой Катковъ.

Все это жестоко поразило Тургенева. Онъ замышлялъ положить перо и закончить «двадцатилѣтнее служеніе музамъ». Написаннымъ имъ въ то время очеркомъ «Довольно», онъ навсегда задумалъ проститься съ читателями. Но обвиненіе, возведенное на него критикой, мучить и тяготѣетъ надъ нимъ, и онъ хочетъ оправдаться отъ взведенныхъ на него клеветъ и пишетъ рядъ замѣтокъ по поводу «Отцовъ и Дѣтей».

Совсѣмъ иначе взглянулъ на романъ Тургенева вообще и на выведенный имъ типъ Базарова молодой критикъ «Русск. Слова»—Писаревъ. Это мнѣніе представителя молодого поколѣнія интересно противопоставить мнѣніямъ «воинствующихъ» критиковъ. Писаревъ, признавая художественность романа, признаетъ за нимъ отрицаемыя первыми критиками достоинства: «романъ, пишетъ Писаревъ, шевелитъ умъ, наводитъ на размышленія, хотя самъ по себѣ не разрѣшаетъ никакого вопроса и даже освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ не столько выводимыя явленія, сколько отношенія автора къ этимъ самымъ явленіямъ. Наводитъ онъ на размышленія именно потому, что весь *насквозь проникнутъ самой полной, самой трогательной искренностью*».

Центръ романа составляетъ Базаровъ—«человѣкъ сильный по уму и характеру». Этотъ природный умъ, развитый наукою, «отучилъ его принимать на вѣру какія-бы то ни было понятія и убѣжденія»; суровая школа жизни, которую Базаровъ прошелъ съ юности, закалила

его характеръ. «Опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познанія, личное ощущеніе — единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ».

Писаревъ глубже поверхностныхъ журнальныхъ фельетонистовъ заглянулъ на явленіе, именуемое базаровщиной. Если признавать «его за болѣзнь вѣка, говоритъ онъ, то приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ, какъ угодно, — это ваше дѣло; а остановить не остановите, это — та-же холера».

До сихъ поръ мѣткая характеристика Писарева остается лучшей изъ всего написаннаго о Базаровѣ, и въ Писаревѣ только Тургеневъ увидѣлъ правильнаго истолкователя и цѣнителя своего романа. Характерно, однако, что несмотря на статью Писарева, прямо отрицавшаго, чтобы такой «честный и искренній писатель, какъ Тургеневъ могъ бы сказать молодежи: смотрите, «умнѣйшій изъ васъ (т. е. Базаровъ) никуда не годится!» молодежь больше повѣрила оракуламъ «Современника», и въ ея отношеніяхъ къ Тургеневу долгое время царила странная натянутость.

Если прежніе романы Тургенева относились къ изображенію дореформеннаго общества Россіи, то романъ «Дымъ» переноситъ читателя въ новую Русь, только что отпраздновавшую день 19 февраля. «Это было время, когда «новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово носилось, какъ Божій духъ, надъ водами. Терпѣніе требовалось прежде всего и терпѣніе не страдательное, а дѣятельное, настойчивое». Среди этого хаоса, на развалинахъ старой Руси нарождалось новое поколѣніе дѣятелей, но ихъ шаги были еще только первыми шагами въ жизнь, и героемъ послѣдней формаціи являлся, все тотъ же Базаровъ. Новыхъ людей еще не было замѣтно; не замѣтно поэтому ихъ и въ «Дымѣ». За Тургеневымъ послѣ «Рудина», «Наканунѣ» и «Отцовъ и дѣтей» осталось наименованіе чуткаго художника, искусно улавливающаго моментъ. Рудинъ, Инсаровъ, Базаровъ — все это характеры, претендующіе на званіе героев. Ни-

чего подобнаго нѣтъ въ «Дымъ». Ни Литвиновъ, ни Потугинъ совсѣмъ не могутъ претендовать ни на роли новыхъ людей, ни героевъ. Ни новаго, ни героическаго въ нихъ ничего нѣтъ. Жизнь не навѣвала, не выдѣляла образовъ новыхъ людей, и художникъ не могъ перенести ихъ на полотно, тѣмъ болѣе, когда онъ въ своемъ творествѣ, по собственному признанію, «никогда не отправлялся отъ *идей*, а всегда отъ *образовъ*». Нужно было новой жизни, подобно рѣкѣ, войти въ свое русло, чтобы выдѣлить характерный типъ своего времени. Къ этому примѣшивалось еще одно обстоятельство: невозможность правильнаго наблюденія за ходомъ нашей жизни. Тургеневу пришлось оставаться только зрителемъ эпохи семидесятыхъ годовъ, которые онъ провелъ за-границей. Эта оторванность отъ русской почвы и ограниченное поле наблюденій особенно сказалось въ типахъ «новыхъ людей», выведенныхъ въ романѣ «Дымъ». Но за романомъ нельзя не признать характера очень мѣткой сатиры на нравы русскаго общества, влачащаго свои дни далеко отъ «прекрасной отчизны». Съ одной стороны стоятъ заграничныя краснабаи, революціонеры на рооссійской подкладкѣ, съ другой—не менѣе жалкія фигуры рооссійскихъ реакціонеровъ, въ лицѣ «тучныхъ», «раздражительныхъ» аристократическихъ администраторовъ, «что то покорившихъ и кого то усмирившихъ» и предлагающихъ проекты обращенія вспясть «насколько это возможно». Характеристикѣ этихъ теченій отведена въ романѣ добрая его половина. Среди этихъ двухъ теченій стоитъ, какъ центръ среди фона, любовная драма, разыгрываемая между Ириной и Литвиновымъ. Еще въ годы студенчества Литвинова, Ирина была любима имъ, но она сама отказалась отъ любимаго человѣка и вышла замужъ за генерала—типичнаго реакціонера; Литвиновъ тоже собирается жениться, у него уже есть невѣста, но случайная встрѣча въ Баденъ-Баденѣ съ Ириной, и любовная драма начата. Въ лицѣ Литвинова видно полное безволіе, и предъ этой безвольной тряпкою сильнѣе вырисовывается характеръ Ирины. Она выше, сильнѣе его, несмотря на все «искаженіе» своихъ силъ, подавленныхъ душевною атмосферою душевною среды. Во всякомъ случаѣ она выше всѣхъ мужчинъ-героевъ ро-

мана. Впечатлѣнія Баденской жизни всецѣло навѣяли созданіе «Дыма». Въ Баденѣ Тургеневъ устроился вполнѣ осѣдло; тамъ въ «Тиргартенталѣ», находилась вилла Віардо, посреди сада, похожаго на паркъ, окруженный, съ одной стороны заросшими сосновымъ лѣсомъ хребтами Задербергъ, а съ другой—сочными, бархатными лугами. Одинъ изъ такихъ луговъ, прилегавшихъ къ парку Віардо, купилъ себѣ Тургеневъ, и въ 1865 г. началъ строить на немъ домъ,—въ стилѣ Людовика XIII, съ высокою крышею, усѣянною мансардами и длинными стройными трубами. Внутри этотъ домъ былъ украшенъ въ томъ-же стилѣ, а вокругъ него былъ разбитъ небольшой садъ со старыми тѣнистыми фруктовыми деревьями и съ разными новѣйшими украшеніями,—бесѣдками, лужайками, кіосками и фонтаномъ. Садъ этотъ орошался ручейкомъ, начинавшимся тутъ-же, изъ ключа, и былъ отдѣленъ отъ парка Віардо живою изгородью. Тургеневъ перебрался въ этотъ домъ въ 1866 г. и жилъ здѣсь до половины 1870 г.».

Здѣсь собирались его берлинскіе друзья, Боденштедтъ, Ад. Менцель, П. Гейзе, П. Линдау, Ю. Шмидтъ. Въ домѣ Віардо царило всегдашнее оживленіе. Давались спектакли, концерты, посѣщаемые избранной публикой, собирались талантливые молодые пѣвцы, чтобы пройти окончательную школу подъ руководствомъ такой опытной артистки, какъ Віардо.

Тургеневъ принималъ живое участіе въ этихъ спектакляхъ, былъ однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, и, во всякомъ случаѣ, былъ центромъ общаго вниманія.

Для литературы въ это время Тургеневъ работалъ мало, всецѣло отдаваясь дружественной ему семьѣ. Весну или конецъ зимы онъ обыкновенно проводилъ въ Россіи и этотъ короткій срокъ служилъ ему главнымъ источникомъ для новыхъ вдохновеній.

Въ 1870 г. Віардо продали свою виллу въ Баденѣ, не желая оставаться среди враждебныхъ родинъ пруссаковъ, и поселились снова въ Парижѣ. Если до этого времени Германія была вторымъ отечествомъ для Тур-

генева, если онъ полюбилъ ее еще съ юношескихъ лѣтъ, когда впервые окунулся въ «нѣмецкое море науки» въ аудиторіяхъ берлинскаго университета и ставилъ выше всего «нѣмецкую образованность и литературу», то съ 1870 г. въ личныхъ симпатіяхъ Ивана Сергѣевича наблюдается поворотъ въ пользу французовъ. И вскорѣ послѣ переселенія въ Парижъ его друзьями являются Флоберъ, Ожье, Додэ и Гонкуръ и только что начинавшіе тогда писатели, Зола и Мопассанъ.

Послѣ роскоши и комфорта Баденской виллы Тургенева, та обстановка, въ которой онъ жилъ въ Парижѣ, могла показаться очень скромной. Въ его личномъ распоряженіи было всего двѣ небольшія комнаты въ верхнемъ этажѣ парижскаго дома. Здѣсь, уже мучимый припадками подагры, Тургеневъ задумалъ послѣдній изъ своихъ романовъ—«Новь», появившійся въ печати въ 1877 г.

Оторванность отъ родины и узкій ограниченный кругъ наблюденій сказались въ этомъ романѣ особенно рѣзко. Если изученіе отдѣльнаго индивидуальнаго характера требуетъ отъ писателя много затратъ, то не такъ легко могла даваться ему «та безымянная Россія», которую Тургеневъ и мало зналъ и мало видѣлъ и отъ которой отдѣляло его тысячеверстное разстояніе. Герои этой безымянной Россіи это только, по мнѣнію Тургенева, «полезные люди»—это не Базаровъ. «Базаровъ все таки тотъ провозвѣстникъ, крупная фигура,—одаренная извѣстнымъ обаяніемъ, не лишенная нѣкотораго ореола: это все теперь неумѣстно—и смѣшно толковать о герояхъ и художникахъ труда. Блестящихъ натуръ въ литературѣ, вѣроятно, не проявится; тѣ, которые бросаются въ политику, только даромъ погубятъ «себя». «Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей... и это будутъ лучшіе люди. Ихъ, вѣроятно, будетъ много; красивыхъ, плѣнительныхъ—очень мало... Увы, мы не увидимъ людей-типовъ, тѣхъ новыхъ людей, о которыхъ такъ много толкуютъ. *Народная жизнь* переживаетъ воспитательный періодъ внутренняго, хороваго развитія, разложенія и сложенія; ей нужны помощники—не вожаки, и лишь только тогда, когда этотъ

періодъ кончится, появятся крупныя оригинальныя личности».

Съ такими мыслями принялся Иванъ Сергѣевичъ за «Новь». Въ романѣ дѣйствуютъ именно полезные люди— новые герои безъимянной Руси: идеалистъ Неждановъ и практикъ Соломинъ. Будущность принадлежитъ трезвому міросозерцанію Соломина, этому представителю типа полезныхъ людей, а не мечтателю Нежданову. Оба они, и Соломинъ и Неждановъ, служатъ одному богу, поклоняются одному идеалу: они—единомышленники, но какая разница въ ихъ путяхъ. Первый помнитъ, что народу нужны помощники, Неждановъ мечтаетъ о роли вожака, но при первомъ же практическомъ соприкосновеніи съ народомъ, чувствуетъ свое безсиліе, неумѣніе и неподготовленность. Незаконный сынъ своихъ родителей Неждановъ нельзя сказать, чтобы былъ и законнымъ сыномъ своего времени. Онъ знакомый типъ русскаго идеалиста,—идеалистъ въ душѣ, набросившій на свои плечи модный кафтанъ, сшитый изъ новой практичности. Въ немъ все двойственно. «Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силится быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и тоже время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей, и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеалами. Сердце имѣлъ нѣжное и чуждался людей; легко озлоблялся и не помнилъ зла». Эстетикъ по натурѣ, онъ считалъ за оскорбленіе малѣйшій намекъ на его стихотворство. Повсюду та-же двойственность, та-же борьба между своими индивидуальными и наносными элементами. Онъ, по мѣткому выраженію Паклина, «романтикъ реализма». Не то Соломинъ. Онъ сынъ своего времени вполнѣ: практиченъ, дѣловитъ, разсудителенъ и даже меркантиленъ. Въ немъ нѣтъ никакого разлада между самимъ собою. Его внутреннее «я» и его дѣйствія живутъ въ полномъ согласіи. «Клювъ у него тонкій, да крѣпкій, за то онъ и продолбитъ».

Соломинъ и Неждановъ—эти двѣ центральныя фигуры романа—выписаны Тургеневымъ ярко и живо,—совсѣмъ

иное приходится сказать о Маріаннѣ—героинѣ романа. Это одна изъ блѣдныхъ, скорѣе сочиненныхъ, чѣмъ созданныхъ фигуръ и самая слабая по обрисовкѣ изъ всѣхъ женскихъ героинь романовъ Тургенева. Типъ «новой гражданки» Тургеневу положительно не удался. Всѣ поступки Маріанны пассивны, активность если и проявляется, то развѣ въ переодѣваніи въ чужой костюмъ, да въ томъ, что она, по совѣту Соломина, готовится къ «спасенію отечества», «моетъ горшки и щиплетъ куръ».

Второстепенныя фигуры Машуриной, Паклина и Маркеллова, Сипягина и Коломійцева прямо замѣчательны по художественной отдѣлкѣ, но общій фонъ картины, среди котораго происходитъ движеніе въ народѣ, и этотъ самый народъ очерчены крайне туманно. И вообще во всемъ романѣ видно, что Тургеневъ, словно измѣнилъ своей обычной манерѣ—идти отъ образовъ къ идеямъ и пошелъ обратнымъ путемъ. Въ «Нови» идея очень часто побѣждаетъ образъ, но художникъ, точно чувствуя свое прегрѣшеніе предъ высшей правдой художественности, воскресаетъ снова въ Тургеневѣ, когда наряду съ мертвенно-блѣдной фигурой Маріанны встаетъ полная жизни фигура Сипягиной...

Втеченіи десяти лѣтъ заграничной жизни, отдѣляющихъ «Дымъ» отъ послѣдняго романа Тургенева, имъ написаны такіе шедевры даже въ его творчествѣ, какъ «Степной король Лиръ» и «Вешнія воды». Однако, и та и другая вещь прошли мало замѣченными, не возбудивъ никакого шума, подобнаго появленію романовъ Тургенева. Но самъ великій творецъ ихъ уже чувствовалъ себя далеко не хорошо. Онъ все чаще и чаще прихварывалъ и рѣже заглядывалъ на родину.

Пріѣздъ его въ 1881 г. въ памятные пушкинскіе дни, когда въ Москвѣ открывался памятникъ Пушкину, былъ рядомъ сплошныхъ овацій маститому писателю. Точно за всѣ годы непониманія, неуваженія—этого обычнаго явленія со стороны критики къ большинству нашихъ прославленныхъ писателей—русское общество

собравшее весь цвѣтъ свой въ Москвѣ, хотѣло показать, что «хотя значеніе его поэзіи на время затемнила пыль, но теперь опять засіялъ побѣдный стягъ».

Это было нравственнымъ удовлетвореніемъ за годы отчужденія, за всѣ старыя ошибки и недоразумѣнія, выпавшія на долю того, кто только хотѣлъ всегда быть вѣрнымъ отражателемъ настроенія, нуждъ и идей современнаго ему русскаго общества.

Можно прямо сказать, не боясь обвиненія въ преувеличеніи, что въ Пушкинскіе дни родина, вѣнчая поздними лаврами «солнце своей литературы», поняла впервые и сознательно что, если въ рядахъ ея живыхъ сыновъ, находятся люди, подобные Тургеневу, то они, дѣйствительно, ея слава и гордость. О своихъ живыхъ сынахъ родина обыкновенно забывала, лишь на могилы ихъ «неся вѣнецъ, хвалы и лавры»...

VII.

Послѣдніе годы.—Болѣзнь И. С. Тургенева.—Послѣдніе дни.—
Письмо къ гр. Л. Н. Толстому.—Кончина Тургенева.

Пріѣздъ Тургенева въ Россію въ 1881 г. былъ послѣднимъ его свиданіемъ съ родиной.

Еще съ осени 1881 г. въ печати начали появляться тревожные слухи о болѣзни писателя, но, одновременно, какъ бы разсѣвая эти слухи, на страницахъ «Вѣстника Европы» и газеты «Порядокъ», издававшейся подъ редакціей М. М. Стасюлевича, были напечатаны: «Пѣснь торжествующей любви (1881) «Старые портреты», «Отчаянный» (1882), «Клара Миличъ (1883 г.)», «Стихотвореніе въ прозѣ» и «Пожаръ на морѣ». Послѣдній очеркъ, продиктованный за два мѣсяца до кончины, былъ послѣднею, лебединою пѣснью отходящаго въ вѣчность знаменитаго писателя. Его силы слабѣли, жестокій недугъ мучилъ его, не позволяя работать. «Еще немного,—говоритъ Тургеневъ въ письмѣ къ одному близкому чело-вѣку,—и я даже самъ не буду желать выходить изъ этой неподвижности, которая не мѣшаетъ мнѣ ни работать, ни спать». Но эта неподвижность, продолжавшаяся, по его словамъ, 23³/₄ часа въ сутки, подтачивала послѣднія силы. Въ мартѣ 1882 г. извѣстный врачъ Н. А. Бѣло-

головый посѣтилъ больного Тургенева. Онъ лежалъ уже прикованный къ постели въ небольшой комнатѣ. «Онъ видимо хандрить и скучалъ своей неподвижностью, отсутствіемъ вѣшняго воздуха, и мечталъ о переѣздѣ въ Буживаль, въ свое любимое лѣтнее мѣстопробываніе». Въ началѣ мая ему удалось туда переѣхать. Здѣсь обстановка его жизни была комфортабельнѣе парижской, комнаты больше и выше, домъ стоялъ среди чуднаго большого парка, но страданія больного нисколько не уменьшались. Мелькнула было надежда на облегченіе; но скоро и она разсѣялась. Боли усиливались».

— Плохо мнѣ, совсѣмъ плохо; нѣтъ, дольше жить невозможно; дайте мнѣ что нибудь, чтобы поскорѣе умереть и не страдать такъ; сегодня мнѣ еще лучше, и я отдыхаю, но въ моментъ болѣе я готовъ все съ собой сдѣлать; вѣрите ли, я такъ тогда кричу, что слышно въ большомъ домѣ» (домъ, въ которомъ жила семья Віардо). Этими словами встрѣтилъ Тургеневъ Бѣлоголоваго, посѣтившаго его вторично въ половинѣ мая 1883 г.

Онъ уже не былъ въ состояніи вставать съ постели, «поворачивался—съ боку на бокъ съ большимъ трудомъ, а сидѣть, не прислонясь, вовсе не могъ. Онъ мучился отъ своей страшной болѣзни—рака спинного хребта—и медицина была безсильна помочь страдальцу: она могла лишь только временно облегчать приступы невыразимыхъ страданій. Но до конца дней своихъ, больной, истерзанный недугомъ, онъ не переставалъ интересоваться текущими событіями, слѣдилъ за ними по французскимъ и русскимъ газетамъ.

Угасая медленно, слабѣя съ каждымъ днемъ, онъ сходилъ въ могилу вдали отъ всего русскаго, роднаго и только русскія газеты, принося извѣстія съ далекой отчизны, напоминали ему, что тамъ хорошо помнятъ и горячо цѣнятъ его, что тамъ теплится къ нему и вѣрная любовь, симпатія и признательность.

Онъ ясно сознаетъ, что конецъ близокъ, «надежды никакой», и жажда смерти все растетъ. За мѣсяць

до смерти, онъ заботится еще объ устройствѣ своихъ дѣлъ, по повѣду продажи Глазунову своихъ сочиненій и все еще, насколько позволяютъ силы, живо интересуется родной литературой. Почти наканунѣ смерти, уже стоя ногою въ могилѣ, онъ пишетъ гр. Л. Н. Толстому слѣдующія трогательныя строки:

«Милый и дорогой Левъ Николаевичъ, долго вамъ не писалъ, ибо былъ и есмь, говоря прямо, на смертномъ одрѣ. Выздоровѣть я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу же я вамъ собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ, и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю, искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь, этотъ даръ вашъ отсюда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, если бы могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ!! Я же человѣкъ конченный—доктора даже не знаютъ, какъ назвать мой недугъ, *névralgie stomacale goutteuse*. Ни ходить, ни ѣсть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Другъ мой, великій писатель русской земли, внимайте моей просьбѣ!—Дайте мнѣ знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще разъ крѣпко, крѣпко обнять васъ, вашу жену, всѣхъ вашихъ... Не могу больше... Усталъ!»

Это были послѣднія строки, писанныя хотя и карандашомъ, но рукою Тургенева.

Еще мѣсяць длились его страданія. 22 августа началась агонія, умирающій потерялъ сознание, и въ два часа пополудни Тургенева не стало...

Его давнишнимъ желаніемъ было лежать въ Святогорскомъ монастырѣ, у ногъ своего учителя — Пушкина. Но онъ считалъ себя недостойнымъ этой чести и завѣщалъ, чтобы его похоронили подлѣ друга его Бѣлинскаго, на Волковомъ кладбищѣ...

23 Сентября унылый перезвонъ сельской церкви въ Кибартахъ (посадъ Вержболово) встрѣтилъ прахъ Тургенева первымъ привѣтомъ отъ родины. Встрѣчая его прахъ, родина провожала на вѣкъ одного изъ своихъ лучшихъ

сыновъ, который жилъ, всегда памятуя завѣтъ своего великаго учителя:

..... Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды высокихъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный!



Б) Историческіе: Отечественная война, Д. Н. Сеславина; **Эрмитажъ**, А. К. Керра; **Военно-Медицинская Академія**, И. И. Акимова.

В) Историко - географическіе: Петербургъ, А. А. Гусева; **Кисловодскъ**, А. Л. Иванова; **Желѣзноводскъ**, Р. В. Генни; **Пятигорскъ**, Сергіевского; **Эссентуви**, Н. Ф. Фаворскаго.

Г) Военное дѣло: **Исторія русской артиллеріи**, Е. Н. Дмитревскаго; **Современная русская наръзная артиллерія**, Е. Н. Дмитревскаго.

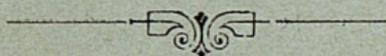
Готовы къ печати и въ самомъ непродолжительномъ времени появятся въ продажѣ: Потемкинъ, Скобелевъ, Нахимовъ, Корниловъ, Грибоѣдовъ, Гончаровъ, Помяловскій, Островскій, Груберъ, Струве, Брюловъ, Перовъ, Фодотовъ, Безбородко, Бецкій, Панины, Орловы, Вяземскій, Шуваловы, Дашкова.

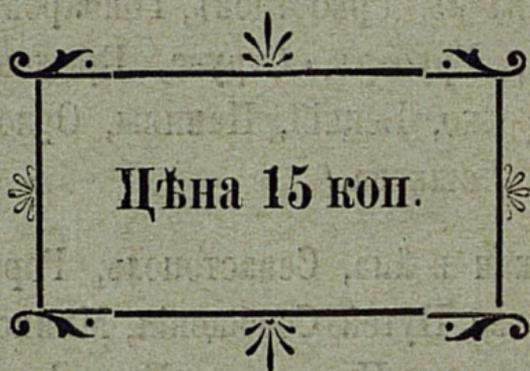
Русско-турецкая война, Севастополь, Горный Институтъ, Министерство Путей Сообщенія, Министерство Финансовъ, Министерство Народнаго Просвѣщенія, Кронштадтъ, Петербургская губернія, Москва, Московская губернія, Поволжье, Бѣлоруссія, Малороссія.

Организація русской арміи, Исторія русской кавалеріи, Исторія фортификаціи, Вооруженіе русской пѣхоты, Военно-учебное дѣло.

Желѣзное дѣло, Чугунное дѣло, Мѣдное дѣло, Маслянное дѣло, Каменно-угольное дѣло.

Всѣ означенныя книжки появятся въ печати въ теченіе Мая—Августа 1899 года.



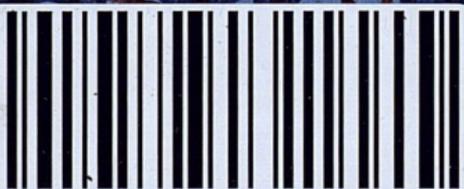


Цена 15 коп.









2010516102